

ДЕНИС ПОПОВ

ТОЧКА СЛОМА



СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+

Денис Попов

Точка слома

«Автор»

2018

Попов Д. А.

Точка слома / Д. А. Попов — «Автор», 2018

Послевоенные окраины Новосибирска 1949-го года. В родной район возвращается отбывший срок за убийство мирных жителей, освобожденных от немецкой оккупации территорий, бывший следователь Сергей Летов. Вскоре жителей Первомайского района начинает систематически убивать кровавый маньяк, к поимке которого на правах оперуполномоченного подключается и Летов. Вместе со своим фронтовым другом Горенштейном, Летову предстоит пройти трудный путь к окончанию расследования, постоянно борясь с тяжелым недугом, заработанным им еще в ходе войны. "Точка слома" - это мрак, рождающийся в описаниях бедного быта послевоенного Новосибирска и холодной сибирской зимы, постепенная пелена сумасшествия, захватывающая головы главных героев и пляски на обломках жизни тех, кто на войне не выжил, а заново родился. Содержит нецензурную брань.

© Попов Д. А., 2018

© Автор, 2018

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

66

**МЫ НА ВОЙНЕ НЕ ВЫЖИЛИ.
МЫ НА НЕЙ ЗАНОВО РОДИЛИСЬ.**

Особую благодарность за помощь в написании данной книги выражаю:
Моему многоуважаемому деду Владимиру Дерябину;

Новосибирскому краеведу Игорю Маранину;

Начинающей художнице Екатерине Вакуленко;

Петербургскому историку Алексею Котову;

Оршанскому историку Максиму Фингерусу;

Выборгскому историку Баиру Иринчееву;

А также многоуважаемому ветерану 1-го Белорусского фронта, кавалеру Ордена «Славы» III степени, покинувшему сей бренный мир весной 2017 года, Владилену Александровичу Орлову.

Глава 1.

Зачем самому рубить лес и ловить щепки?

Клубы дыма окутали станцию и людей, стоящих на ней. Паровоз, разрезая своей красной звездой воздух, начал уменьшать скорость, из окон вагона становилось все легче рассмотреть силуэты людей, но вскоре железная туша паравоза окончательно остановилась, тряхнув спящих. Проводники в синей форме, взяв с собой скрученные зеленые и красные флажки, открыли двери, и, выйдя на холодную станцию, принялись пускать клубы пара изо рта.

«Станция «Тайга», стоянка 30 минут» – кричала проводница, идя по дымному от папирос вагону.

Летову снились кошмары. Чуть ли не самые страшные за последнее время. Ему снились они, желающие отомстить ему. Они хотят убить его, но не делают этого, ибо жалеют, непонятно только с какого черта. Крик проводницы разбудил его, Летов вскочил с полки тяжело дыша: на лбу и лице был пот, глаза испуганно бегали по вагону, волосы слиплись и лежали на голове как какие-то куски темного дерева.

Летов тряхнул головой, трясущимися руками достал из кармана пачку «Норда» и, наконец, закурил. Закуривание хоть как-то помогало ему отойти от этих кошмаров, да и крепкий табак пробуждал неплохо.

Взяв своё длинное габардиновое пальто, разделенное двумя рядами пуговиц, Летов накинул его поверх помятого пиджака и пошел на улицу. Он уже давно спал в верхней одежде: старой плотной рубаше какого-то серо-коричневого цвета, сером пиджаке, с оторванной пуговицей, и потертых синих галифе – чуть ли не единственного, что осталось от работы в милиции. Единственная черная карболитовая пуговица, которая разбухла от воды, покрывшись неболь-

шими бугорками, одиноко свисала на тонкой нитке в ожидании своего последнего падения. Черная кепка сохранилась лучше всего – лишь немного выгорела, да протерлась у козырька, а так выглядела как новенькая. Сапоги же оставляли желать лучшего – были сильно избиты.

Летову постоянно казалось, что сзади уголовники – привычка с лагеря осталась. Привычки были его обычным делом – в лагере он падал на землю, при шуме, напоминающем шум самолета, трясся при каждом взрыве породы. Теперь вот, на гражданке, надо будет отвыкать от лагерных привычек.

А может это не привычки, а ноющие рубцы на изорванной войной плоти души?

Впрочем, Летов сам был уголовник. Статья 138 УК РСФСР – «Умышленное убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения». Стоит сказать, что Летов, даже спустя четыре года, сам не понимал, как мог сделать такое. Было ли это помрачение рассудка, порыв гнева, или что-то в этом духе – Летов точно знал, что он не мог себя контролировать в тот момент, просто не осознавал, что делал. Однако это нисколько не умаляло его вины – он это понимал, и это терзало его, как и сам факт совершения преступления.

В тамбуре уже стояли и курили молодые парни, проводник прыгал с ноги на ногу, дую в ладони, а на перроне толпились пассажиры. Кто разминался, кто курил, кто просто смотрел сквозь клубы дыма на вагон.

Летов сел на скамейку, бросил докуренную папиросу и закурил новую. Помятая пачка уже заканчивалась – надо будет купить завтра, пока совсем деньги не кончились.

Его лицо отражало страшную тоску и пустоту. Глаза были пустыми, как стакан у алкоголика, черные волосы покрывали голову, а челка скрывала складки на лбу. Под глазами были мешки, страшные мешки, словно те мешки картошки, которые они собирали комсомольской бригадой Эйховского района до войны. Сами глаза были серыми, но какими-то преждевременно постаревшими, нос был острый, губы – обметанные, потрескавшиеся. Щеки давно покрылись морщинами и странными рытвинами, словно гнилое бревно. Руки были изуродованы сильнее всего – где стерты, где избиты, где с потрескавшейся кожей, где с мозолями. Рубаха и галифе же скрывали еще более страшные раны на теле – старые, времен службы в милиции, средней давности – времен войны, и новые – нанесенные уголовниками и рабочими инструментами в лагере. Плечи были широкими, но опустившимися – было видно, что пиджак чуток великоват, хотя до войны был в самый раз. Сапоги были старые, потертые. Характер же у Летова, по сути исчез – он просто существовал, с сильнейшей душевной болью. Свои страдания, в отличие от Горенштейна – своего друга войны, Летов не скрывал, ибо не от кого было. Иногда он мог всплакнуть, но умел себя сдерживать в нужные моменты. В последнее время, правда, участились кошмары, нервные тики и крики во сне, что немного настораживало Летова. Подобные странности у него начались еще в 42-ом, но в последний год они стали чуть ли не ежедневными – не было такого дня, чтобы у Летова не тряслась рука или глаз, или не снился кошмары. Хотя, самое страшное бывало при приступах галлюцинаций, но они были довольно редкими.

Странно, что большинство пассажиров, стоящих на платформе, прыгали или как-то интенсивно двигались, дабы не замерзнуть. Мороз на улице был огого! А вот Летову было нипочем – он не сильно боялся холода. Видимо, за долгие годы войны в холодных карельских краях, он уже привык к холоду, и начинал реально его ощущать лишь после того, как столбик термометра опустится ниже –20 градусов.

Вот докурена уже и третья папироса. Луна светила своими вездесущими, холодящими душу, белыми лучами, пробиваясь сквозь дым. Ее безразлично-губящий свет отсвечивал от потемневших окон вокзала, от запыленных окон поезда, от круглых очков проводника.

–Только бы поскорей смертную казнь ввели, а то дочку его охали, а этого выроodka даже не расстреляют.

-Да введут поди. Найдут для кого, врагов у нас много. В 37-ом не всех гадов вычистили.

-Да, не всех. Так после войны новые появились. Война таких сволочей рождает.

-Согласен, после войны всяких бандюков куда больше стало» – переговаривались двое пассажиров близ Летова.

«Обо мне говорят. Я ведь тоже благодаря войне таким стал» – подумал Летов, дав сапогом окурочек.

«Стоянка окончена! По вагонам!» – закричали проводники. Пассажиры бросили смолящие бычки, а кто-то смачно и быстро докуривал. Летов медленно поплелся в свой третий вагон. Вскоре он уже упал на койку, сняв сапоги, и стал пытаться уснуть. Проводники же начали свою «зеленую цепочку» – они принялись показывать зеленые флажки один за другим. Потом паровоз фыркнул, как лошадь, выпустил дым, проводники закрыли двери, и новые клубы окутали станцию. Вагоны, давя рельсы, пошли по ним медленно, словно черепахи. Вот и Луна постучалась в окно Летова, но ее стук заглушил скрежет колес, и Летов ее не пустил – он просто не услышал. Потом дым оттолкнул ее свет, а поезд начал ускоряться. Сначала он стал раненой лошадью, потом медленно скачущей лошадью, потом скачущей на полном ходу, а потом превысил и ее скорость – поезд, наконец, стал железной машиной, мощью техники и прогресса.

Летов лежал, придерживая рукой карман, где лежала она. Справка об освобождении, единственный документ. А в соседнем кармане деньги, что ему выдали на проезд в Канске: самое ценное что есть сейчас. В любом случае, матери уже нет, жены, детей – и не было, а друзья... либо погибли, либо вряд ли в Новосибирске. Горенштейн, поди, в Ростове у себя. А Леха... А Леха там, под Воронежем.

Летов вспомнил Леху. Его лучшего друга, того, с кем он дружил еще с детства. Да, они ссорились иногда, но это было так, мимолетно. Леха был будто братом Летову. Вместе они работали в милиции, вместе и на войну пошли. Вместе в плен попали, вместе и сбежали. А дальше...

Летова сильно тряхнуло, и он отвернулся, дабы не пугать лежащего рядом мужчину. Теперь перед глазами Летова была лишь старая перегородка, на которую падал свет луны – он таки достучался до бывшего старлея.

...На этот раз в окно стучалось солнце. Было ранее утро – поезд снова тащился как черепаха. Уже виднелись окраины Новосибирска – молодого города, рожденного Октябрем. Сквозь лучи солнца проглядывали силуэты вокзала, его прекрасные стены изумрудного цвета грели душу израненному Летову – он смотрел вдаль, сидя на полке, и вспоминал прошлое. Вроде как не очень давнее – 10 лет для 41-летнего мужчины не очень большой срок. Но оно казалось таким давним, таким туманным, будто он вспоминает свое детство в гнилом, унылом городишке Новониколаевске. Он вспоминал те годы, когда был лейтенантом милиции, когда вместе с Лёхой ловил всяких гадов, которые нарушали спокойствие его родного города. А где теперь те времена? Леха в братской могиле, Летов... А Летов уже не тот Летов – он больше не лейтенант милиции, и не старший лейтенант РККА. Он вообще черт знает кто. Он не выжил на войне. Он на ней заново родился.

Паровоз остановился и весь состав последовал его примеру. Дым опять начал стелиться по платформе, скрывая в своей серой пелене толпы людей. Проводница прошла, крича: «Новосибирск-Главный, стоянка 30 минут!»

Летов вставил ноги в свои сапоги, застегнул ворот рубахи, напялил пальто и шарф, достал из под койки потертый, взятый в качестве трофея в Выборге, чемодан, надел кепку и пошел прочь. У выхода из вагона уже выстроилась небольшая очередь, из отделений, словно крысы, выползали люди и все пытались прорваться вперед. Люди выходили, прощаясь и благодаря проводников, шли вперед, к вокзалу.

Летов уже шел через здание вокзала, смотря на раздираемые солнцем окна, в которых были видны кривые тоненькие деревья, растущие перед главной железнодорожной артерией Новосибирска. Аккуратно расталкивая толпящихся у касс людей, Летов наткнулся на двух постовых.

«Здравия желаю! Проверка документов» – четко проговорил старлей в синей шинели.

Летов спокойно достал из кармана справку.

«Так... Красноярский ИТЛ... справка №9987... Летов Сергей Владимирович, 1908... осужден Военным трибуналом 9-й гвардейской армии в 45-ом... ст. 138 УК РСФСР... отбывал наказание по 12 октября 1949-го... освобожден 12 октября... следует к избранному месту жительства Новосибирск до ст. Новосибирск-Главный... начальник лагеря Лекайнинов...» – бормотал старший лейтенант. – А за что сел?

-За убийство мирных жителей освобожденных территорий.

-Фрицев?

-Австрийцев.

Милиционеры пошли дальше, так ничего и не ответив. Летов немного постоял на месте, не в состоянии даже пошевелиться, а потом быстро положил справку обратно, рванув к выходу. На душе было еще более гадко, чем обычно. И вот вроде все правильно они сказали, правду же сказали черт возьми, а все равно тяжело. Правду иногда крайне тяжело принять, а если быть точнее – то ее иногда вообще невозможно принять. Вот человек и существует, страшно мучаясь от этой правды. Как Летов, с апреля 45-го.

Теперь осталось добраться до Первомайского района, расположенного у станции Инская. В ее сторону иногда ходили поезда, и Летов очень надеялся, что сможет сесть на один из них без долгих ожиданий.

И вновь поезд неся, показывая свою великую мощь. Домишки Новосибирска размыто виднелись из окон, повсюду слышался треп пассажиров, из него вырывался яркий женский смех, детский голосок, тихий говор бабушки и крики куриц в клетке. Летов дремал, но дремал очень тяжело – постоянно трясся, бормотал что-то во сне. Сидящий перед ним мальчик постоянно смотрел на дядю, на его потное лицо. Мальчик думал, и правильно думал, что дядя болен; хотел спросить маму, но та тоже спала.

Летову снился тот самый момент. На заваленном штукатуркой и обломками кирпичей полу, лежат тела двух гражданских. Женщина, лет сорока, в белой от извешке одежде, и ее муж в черном костюме. Под их трупами уже растекаются огромные лужи крови, собирая в свою красную пелену кирпичную пыль и извешку. Ноги женщины согнуты в предсмертной агонии, а лицо мужчины отражает невероятный страх и надежду на выживание. Летов уже начинал что-то отдаленно осознать: туман помутнения рассудка постепенно сходил. В голове не было никаких мыслей, только крик и взрывы гремели в ушах, перед глазами было все какое-то мутное, будто на них пленку наложили. Летов рычал, как волк, его периодически трясло – в своих черных от копоты, и местами красных от крови руках, он сжимал автомат, сжимал железно. Вдруг он услышал какой-то шорох. Инстинктивно он понял, что это немец – в доме были ССовцы. Он резко повернулся и, даже не посмотрев на стоящего в дверях человека, пустил по нему очередь. Какой-то дикий крик вырвался изо рта убитого, и тот упал на заваленный коридор. Только потом Летов узнал, что это был семилетний мальчик, который прибежал домой, увидев своих родителей убитыми.

Вдруг Летов начал слышать крики той женщины и ее мужа, крики на немецком – они молили о пощаде. Но Летов в тот момент не слышал ничего, он лишь рычал. В тот момент не слышал, а сейчас... Вдруг Летов проснулся, издав громкий стон и сдавив лицо грязными руками.

Он вышел в тамбур. Холод окутал тело, изо рта шел пар, продирая холодный плен, слышался вой ветра и стук колес. Руки перестали трястись, и это немного обрадовало Летова – так закурить проще. До Инской оставалось ехать немного, как раз хватит на то, чтобы выкурить хоть одну папиросу. Поезд уже ехал как раненый конь, медленно крутя колеса по поверхности рельс, были отлично видны деревянные, прогнившие домишки Первомайки.

... «Инская» осталась позади, а Летов вышел на большую улицу. Он шел вперед, просто в никуда – идти то было некуда. Ледяной сибирский ветер обдувал его преждевременно постаревшее лицо, качал потертые полы габардинового пальто, пытался продрасть в большой мозг, но черепная коробка, заботясь о ветре, его останавливала. Глаза Летова были абсолютно пустыми – в них не чувствовалась даже тоска. Чувствовал он лишь страшную пустоту, поняв, что уже окончательно потерялся в этом мире.

Камышитовая коммуналка, в которой он жил, уже давно сгорела. Еще в 1944-ом мама, собрав в кулак все знания, полученные в начале 20-х по Ликбезу, писала ему: *«Сынок! Миленький! Тут такое случилось: комнатка то твоя, сгорела совсем. Помнишь свой двухэтажный дамишко то, так вот, алкаш один там, старый хрыч, и спалил дом, да и сам сгорел. В твоей комнате семья жила Жени Номенькова – может помнишь его, он у тебя как-то свидетелем проходил, ты говорил как-то. Ну семья то успела выбежать, ну а алкаш этот сгорел, да и дом тоже. Как вернешиси, тебе новую комнатку выдодут – может ко мне поближе, а то далеко так живем ж!»*

Бог знает, выдадут ему эту новую комнатку или нет. Теперь уже не важно – рядом с мамой или нет, на кладбище не бывает жилплощадей для живых.

И тут Летов вспомнил письма мамы о том, что она откладывает ему деньги! А в последнем письме, что она уже из больницы отправила, зимой 47-го, она сказала, что деньги тетя Лена сохранит. На душе стало совсем немного светлее – словно между огромными тучами открылся просвет, маленький просветик. Появилось куда идти хотя бы сейчас.

Тётя Лена в прошлые годы была лучшей подругой матери Летова и мамой Лёхи. Летов знал ее с детства, как, впрочем, и самого Леху, поэтому совершенно не сомневался в том, что деньги, накопленные мамой, тётя Лена сохранит. К тому же, ей было просто не на что их тратить – сын погиб, мужа поезд задавил у Инской еще в 46-м, как писала мама.

Вот и знакомые места. Одноэтажные деревянные, прогнившие домики, со старыми, потемневшими окнами, и покосившимися заборами. Земляная дорога, изъезженная повозками. Изредка встречающиеся каменные двухэтажки коммуналки – в одной из таких и жила тётя Лена до войны. Слева – отделение милиции, где-то вдалеке здание райкома ВКП(б). Совсем рядом стрелочный завод и магазин №21.

Бессмысленное и совершенно не греющее солнце принялось светить на эти гнилые дома, пытаясь то ли прожечь, то ли согреть их шиферные крыши. Солнечные лучи отражались от снега, стучали в окна пустых домов, чьи жильцы ушли или на работу, или на учебу.

Вот мимо пробежало несколько школьников, трясая ранцами. А вот и знакомый дом мамы Жени Номенькова. А вот и дом тёти Лены.

Летов открыл дверь двухэтажной коммуналки, от каменных стен которой веяло холодом. Дверь была старая, еще дореволюционная, на сильно скрипучих петлях, от которых пахло какой-то сырой гнилью. Наконец-то Летов увидел знакомое убранство коммуналки: длинный коридор с обшарпанными дверями, тусклый свет, стоящие на старых табуретках тазы, сидящий у двери и курящий трубку дед, телефон, висящий на стене у входа с толстенной телефонной книгой, натянутые веревки для сушки белья, и, конечно же, репродуктор в углу.

Дед, при виде человека в милицейских галифе сразу поднялся, а трубку спрятал за спиной. Летов лишь мрачно усмехнулся и пошел к четвертой комнате – в ней и жила тетя Лена.

Дед испуганно смотрел вслед Летову, думая, что это кто-то из милиции. Знал бы он какой из Летова милиционер...

Летов постучал по коричневой двери, и из-за нее послышался до боли знакомый голос тети Лены: «Входите!»

Дверь открылась, а Летов застыл на пороге. Малюсенькая, так знакомая комнатка тети Лены... Большое окно с поцарапанными рамами, старые, но чистые обои, одна кровать из тонких железных трубок, старенький стол у окна, забитый, по большей части, аккуратно лежащими друг на друге книгами, висящие на стенах фотокарточки, на одном из которых и Летов с Лехой в детстве, у двери маленький шифоньер, а на самой двери вешалка, прогибающаяся от старого пальто тети Лены, которое она носила еще в 30-х.

Тетя Лена стояла с книгой в одной руке и круглых очках в другой. При виде Летова её челюсть немного приспустилась, а книга, издавая тихий шелест, начала медленно выпадать из рук. Казалось, что она простояла бы так целую вечность, если бы книга не рухнула на деревянные доски пола, разбавив эту молчаливую сцену грохотом своего падения.

«Ой!» – вскрикнула тетя Лена. Она подняла книгу, положив на стол, и с растерянным взглядом сказала: «Сереженька... миленький... родной... сколько лет... как же ты... как же ты так... Господи, да как же долго то...»

– Долго тетя Лена – пробормотал Летов – долго. К вам можно?

– Само собой, Сереженька! Конечно можно! Ой, сейчас, стульчик тебе поставлю.

Тетя Лена сначала мешкалась на месте, не зная, что делать, а потом, наконец, выдвинула из-за стола большой стул, на котором еще Леха сидел, и поставила его напротив кровати, упав на нее.

«Садись, родной» – сказала тетя Лена, указывая на стул.

Летов поставил у двери обшарпанный чемодан, снял пальто с кепкой, повесил на вешалку и, наконец, упал не на нары или сиденье поезда, а на знакомый стул. Казалось, что крюки вешалки закричали от радости: наконец использовали не один из них, а сразу два, да еще и незнакомое пальто повесили!

Тетя Лена была уже пожилая, поэтому называть ее надо бы было уже бабушка Лена, но Летову была привычнее приставка «Тетя». Ее седые волосы были аккуратно собраны на затылке, лицо стало сильно опухшим, а щеки изрезаны тонкими линиями сосудов. Большие старческие складки на лице совсем не сочетались с прекрасными голубыми глазами, по которым совсем не скажешь, что ей далеко за 70. Тетя Лена всегда была худая, но теперь, кажется, стала еще более худой, словно ссохлась. Эту худобу скрывал лишь пышный сарафан белого цвета, надетый поверх темно-синей рубашечки.

«Ну рассказывай, что да как. Я вот, как видишь, одна живу, уже давно. Одиноко как-то, ну да я читаю, вот так только от скуки и спасаюсь» – добро сказала тетя Лена, скрывая под словом «скука» слово «боль».

– Ну, а я... – начал Летов. – Я, сами знаете. Натворил плохого, вот и оплачивал по заслугам.

– Как же так? До войны сам преступления пресекал, и сам в лагеря сажал, а тут сам же «подвиги» своих врагов повторил.

– А вот война как-то перевернула все. Изменила она меня, переродила. Изменила до боли. Сам стал преступником, не знаю по чьей воле. Не осознавал я того, что делаю.

-Неужто так обозлился, что от ненависти аж рассудок помутнел?

-Видимо, да.

-Это ты из-за Лешеньки?

Лешенька... Летова как в мозг ударили чем-то тяжелым: его потрянуло, стул, не готовый к такой резкой взбучке, заскрипел, но выдержал. Летов вспомнил крик Лехи, вспомнил, как он корчился в предсмертной агонии, задыхаясь и захлебываясь кровью. Вспомнил, как тащил его на себе, а на него лилась кровь из пробитой артерии.

Тетя Лена закрыла неровной от выпирающих сосудов ладошкой рот – поняла, что сказала не то, но было уже поздно. Летов же сильно сжал зубы: из глаз начинали капать триклятые слезы, как бы он не пытался их сдержать. В лагере всегда ржали от того, что он плачет, а тут вроде и можно поплакать, а не можешь – привычка сдерживаться не может пройти легко и быстро.

«Ты поплачь, Сереженька, поплачь. Я сама плакала долго» – пробормотала тетя Лена.

Летов же мотнул головой, надавил на глаза, и слезы сами собой ушли внутрь, раздирая своей кислотой душу.

Тут тетя Лена вскочила, взялась за сердце и начала быстро говорить: «Ой, как же это я забыла то! Сейчас чайку заварю, подожди, там вроде Валька на примусе воду вскипятила! Подожди минуточку, я сейчас».

Летов даже не успел ничего ответить, ибо тетя Лена сделала все быстро: схватила свою кружку, потом еще одну, давно не использующуюся, и выбежала в коридор.

Бывший старлей еще немного посидел, уставившись в пол, а потом резко встал, потер голову, помотал ей и, наконец, пришел в себя. Тетя Лена заваривала чай на кухне, так что Летов мог спокойно оглядеть ее жилище. На столе лежала стопка книг Достоевского, Шолохова, Ленина. Около нее стояли старенькие часы, а рядом с ними стопка треугольных, пожелтевших писем. Последним лежит письмо за 42-й год. Значит, это и есть последнее письмо Лехи. «Новосибирск, Первомайский р-н, улица Хрупкая, дом 16, ком. 4, Феофановой Елене Олеговне» – корявым почерком было написано на нем. Летов вспомнил, как они вместе писали письма домой – Летов маме, а Леха маме и жене. Летов так часто жалел о том, что выжил он, а не Леха, ведь Лехе действительно было куда идти и для кого возвращаться – и мама, и жена. А Летову что? В чем смысл его существования на земле? В чем смысл того, что он жив? Неужто от него может быть хоть какая-то польза? Но какая польза может быть от него сейчас? От него – большого преступника, со справкой об освобождении?

Тут мысли Летова прервала тетя Лена с двумя кружками чая.

-Вот, родной – сказала она – сейчас чайку попьем.

Тетя Лена поставила два граненых стакана с чаем. Один был поцарапанный, с отколотым кусочком, а второй блестящий, совсем не использующийся, словно только купленный. Тетя Лена вместо того, чтобы сесть на кровать, подошла к шифоньеру, открыла его, залезла в какой-то чемодан, и из кучи всякого тряпья достала мамин кошелек.

-Вот, мама твоя когда в больницу с сердцем легла, попросила меня ее сбережения для тебя схоронить. Не успел ты, не успел, Сереженька... Но я вот все уберегла. Держи, тут триста рублей. Мама тебе почти всю пенсию откладывала. А последнюю пенсию так вообще полностью отложила – ей эти деньги уже не нужны были.

-А вы тетя Лена? Вам не нужно? – мрачно спросил Летов.

-Да нет, ты чего! У меня пенсия есть, мне хватает. Да и на что мне тратить то. Хлебушек, молоко, да яиц иногда. Больше и не надо.

-Спасибо огромное, что сохранили. Я бы сейчас без денег вообще не выжил, на работу то тяжело будет устроиться.

-Ну да, обратно в милицию уже не пойдешь.

Летов тяжело вздохнул, опустил голову, а когда поднял, лишь мрачно усмехнулся.

-На стрелочном заводе поди работка найдется – добродушно сказала тетя Лена.

-Да найдем работу, с голоду не сдохну – пробормотал Летов.

Тетя Лена думала, о чем завести разговор. Про Лешу нельзя – Летов тут чуть не заплакал, про маму его тоже не стоит. Прошное вспоминать, так тем более для Летова это больно. Решила задать банальный вопрос: «Ты теперь куда?»

-В милицию, черт возьми. Паспорт получить надо – усмехнулся Летов. – Все на круги своя возвращается.

-Да уж, паспорт нужен, без него и комнатку не получить.

-Тетя Лена... А где маму то похоронили? Я бы съездил к ней, проведаль хоть.

-Да там, за 19-м магазином кладбище небольшое. Вот там и схоронили.

Посидели еще минут пять молча. Тетя Лена внимательно оглядывала Летова, его сгорбленную спину, слипшиеся волосы, поношенные галифе, пока он быстро попивал чай, уставившись в стол и думая о чем-то своем.

-Ладно, тетя Лена, спасибо за теплый прием, за чай и за то, что сэкономили деньжата – вставая тараторил Летов. – Огромное спасибо, я прямо не знаю, как вас отблагодарить.

-Просто сэкономи себя – грустно сказала тетя Лена. – Видишь, у меня и Лешенька, да и муж мой не дожили, так ты хоть сэкономи.

Летов кивнул головой, положил кошелек к справке в карман пиджака, попрощался с тетей Леной и вышел в коридор, где все также дымил дед, опять вскочивший при виде Летова.

«Я не милиционер, отец» – мрачно сказал Летов, застегивая пальто.

Дед даже и не подумал садиться – вдруг странный товарищ врет, дабы проверить его.

На улице ветер уже стих, облегчив жизнь пешеходам. Летову жутко хотелось выпить – благо, продмаг был рядом с домом и Летов, не долго думая, приобрел там столь желанную чекушку.

В самом продмаге речь шла о том, что на Инской нельзя купить детской одежды.

-Да ладно дите не одеть-то – злобно говорила одна тетушка другой – так и себе, ни носочков, ни валенок не купить, а мужик то мой телогрейку никак сменить не может, все ему дурню говорю – съезди в город, купи уже одежонки себе, да нам с Манюсей.

-Так и не только одежды, хлеба после шести не купишь! А я вообще себе табуретку взамен той расхлябанной купить никак не могу.

Летова сильно удивил вид новых денег: их он еще ни разу не видел, хотя реформа была уже два года назад. Особенно ему понравилась огромная пятидесятирублевая купюра: на ней красовался портрет Ленина в овале, герб СССР и куча каких-то непонятных узоров изумрудного цвета.

Магазин №19 был в минутах десяти ходьбы от дома тети Лены. Бутылку Летов положил в карман пальто, из которого торчало прозрачное горлышко, закупоренное сургучом. Идя по узкой улице, Летов сильно боялся поскользнуться – коли рухнешь, то забор чей-то обязательно сломаешь, да и бутылка разобьется.

Так Летов шел, разрезая ветер, да осознавая полную и окончательную потерянность в этом мире. Только подумать, лет десять назад он был нужен этому району: он защищал его безопасность, а теперь он ему уже никак не может пригодиться. Все, что было нужно Летову – исчезло, как и исчезло все то, что было нужно от Летова. Ни дома, ни матери, ни кого-то, кто ждал его – никого не было. Только холод и снег, которые поджидают всегда и всех.

Глава 2.

«Как странно быть живым в чернеющем нигде»...

--Дельфин

Бывший старлей сидел у могилы. «Летова Надежда Антоновна. 05.08-1877 – 07.12.1947» – такая скромная надпись была на табличке, прибитой к уже немного сгнившему деревянному кресту, вокруг которого ютились такие же гнилые собраты. К крестам были прибиты таблички, в основном, с именами либо женщин, либо стариков, либо детей. Взрослые мужчины лежат не здесь, а где-то очень далеко.

Летов присел на корточки, ощутив сильную боль в коленях. Полы пальто утопали в белом ледяном болоте, а Летов смотрел на небольшой бугорок земли, припорошенный снегом. Взгляд его отражал безнадежное отчаяние, какое-то непреодолимое желание оказаться там, под этим крестом. Надеясь на то, что хотя бы алкоголь поможет, Летов зубами сорвал сургуч с бутылки, и чуть не выплюнул его по привычке, поняв, что здесь не место – мусорить в новом «доме» мамы нельзя.

Первый глоток. Водка ответила теплом, в мозг ударило что-то тяжелое, но не рвущее. Полегчало на несколько секунд – как только горячительное пролилось внутрь организма, все мысли вернулись на прежние места, словно стая собак, испуганная выстрелом, вновь сбегается к недоеденной добыче.

«Ну вот мама, я и дома. Как же вышло то – совсем немного не дождалась. Ты прости меня, что я после войны так надолго задержался. Моя это вина, только моя» – бормотал Летов.

Так он просидел с час. Мыслей не было, были лишь воспоминания, которые атаковали воспаленные извилины мозга, как пикировщики атакуют извилины траншей. Летов вспоминал, как делал с мамой арифметику, как они с ней, Лехой и тетей Леной ездили в Бийск на выходные, как он праздновал свою первую награду, полученную за задержание банды грабителей, и, наконец, как мама со слезами на глазах провожала его на фронт. Все это перемешалось, нарушив осознание времени: Летов уже не понимал, давно ли это было, недавно ли...

Попрощавшись с мамой и выпив еще немного водки, Летов отряхнул пальто от талого снега и пошел на выход. Кладбище напоминало некоторые места Карельского перешейка: небольшие кресты, подобно карликовым березам, стояли рядом друг с другом.

Теперь нужно было в милицию. Была она рядом, но с бутылкой водки, торчащей из кармана, туда идти нельзя. Поэтому Летов встал у какого-то забора, поставив чемодан на небольшой бугорок земли, достал из него носок, и им же заткнул бутылку, вертикально поставив ее в чемодан.

Знакомое здание милиции даже немного согрело душу Летову. Большой зеленый забор по периметру и двухэтажный желтоватый домик, с треугольной серой крышей, одиноко стояли на углу двух разъезженных улиц. У входа стоит стенд с фотографиями отличившихся милиционеров, у двери висит коричневая табличка, а старые окна бросили в лицо Летову знакомые занавески, лишь в паре мест закрытые линиями приклеенных на клейстер газет – так милиционеры скрепляли трещины в стеклах. У входа стояло двое постовых в синих шинелях, опираясь

на крышу вмерзшей в землю темно-синей милицейской «Победы» с красной линией по бокам, а рядом с ней ожидал очередной поездки ее друг – зеленый «ХБВ»¹. Лестницу к отделению отремонтировали: уже в 41-м она так сильно прогнила, что казалось, вот-вот проломиться.

Летов открыл калитку забора и пошел ко входу. Постовые внимательно его оглядели, но не остановили, продолжив курить. Дверь в отделение была все та же: толстая, коричневая, похожая на те двери, которые в фильмах про революцию матросы открывали ударом ноги. Внутри все осталось как прежде: у входа сидел в будке дежурный с телефоном, который останавливал всех входящих.

«Обождите, товарищ» – спокойно сказал дежурный. Он поставил еще пару подписей в каком-то документе, а потом оглядел Летова, спросив: «В к кому, или по какому вопросу?».

-Я паспорт получить – сказал Летов. – На основании статьи 38 (39) Положения о паспортах.

-Вы не похоже на цыгана... Сидели?

-Да. Прибыл из Канска.

-Справка есть?

-Само собой.

-Фотокарточки?

-Нет.

-Надо сделать, как минимум две.

-Сделаем.

-Ну вот как сделаете, так и приходите. Вы только поторапливайтесь: без паспорта жилье то не получить.

Летов усмехнулся, кивнул и уже думал идти, как вдруг услышал до боли знакомый голос. Он обернулся и увидел человека, который стоял оперевшись на стол, и что-то оживленно говорил. Волосы были черные и кудрявые, а голос немного картавый, но очень жесткий и прямолинейный. Летов не мог поверить, он стоял и, обомлев, смотрел на эту широкую спину, в синем кителе, ожидая, когда этот человек обернется. И он обернулся...

С минуту они стояли и молча смотрели друг на друга. Глаза человека в синем кителе отражали невероятную радость, ее же отражали и глаза Летова.

«Сергеа» – пробормотал человек в кителе.

«Веня» – пробормотал Летов.

Они бросились на встречу друг другу и сильно-сильно обнялись. Так они простояли еще долго, шепча имена друг друга. Летов даже всплакнул – слезы уже стали частью его жизни. Потом человек в кителе оттолкнул его и громко-громко сказал: «Боже ж ты мой, Серега, сколько лет сколько зим! Как же я рад! Сейчас, подожди чуток».

¹ «Хотел быть Виллисом». Так в народе называли машину ГАЗ-67Б.

Человек в кителе поставил подпись под протокол осмотра места происшествия и отдал его дежурному.

«Пошли» – весело сказал человек в кителе, тряхнув Летова за плечи.

Летов недоумевал: откуда он здесь? Это был его лучший друг, единственный, оставшийся в живых друг – Веня Горенштейн. Родился он и жил до войны в Ростове на Дону – городе, который спрятан в южных теплых краях так далеко от Новосибирска. Родом он был из еврейской семьи, и, как Летов, до войны служил в милиции – это была главная причина, по которой два солдата сдружились. Познакомился с ним Летов в марте 1943-го, когда прибыл в состав 23-й армии: тогда они были командирами рот в одной дивизии и вместе воевали. Впервые Летов встретился с Горенштейном в штабе, когда только прибыл в состав армии – Горенштейн сразу произвел на Летова впечатление, показавшись каким-то двуликим. С одной стороны, чувствовалось, что он постоянно переживает и сильно страдает, но, с другой, было видно, что он очень веселый человек, и всегда старается таковым быть, даже если на душе у него полный мрак. В дальнейшем так и оказалось, собственно, это и стало второй причиной дружбы между двумя офицерами: они были похожи тем, что у обоих было горе, которое они могли друг от друга не скрывать. Горенштейн был помладше Летова, на четыре года, но эта разница в возрасте ничего не меняла – они искренне дружили и могли говорить друг другу настоящую правду без прикрас и замалчиваний.

Горенштейн был чуток пониже Летова, но в целом, телосложение у них было одинаковое: широкие плечи и мощные руки. Волосы у Горенштейна были черными, как гудрон, и очень кудрявыми, лицо какое-то мрачно-веселое, если можно так выразиться, глаза, как и волосы, были тоже темными – темно-серыми. Нос был притупленный, а губы разной толщины: нижняя толстая, верхняя в разы тоньше. Шея была длинная, как у гуся. На лице же у него теперь, как и у Летова, было много складок и морщин, только мешки под глазами не так выделялись, как у Летова. На лбу у Горенштейна был большой и длинный шрам, который он получил в боях на Вуосалми в 1944-ом. Одно из самых удивительных в этом человеке было то, что, несмотря на свою чисто еврейскую кровь, в голосе Горенштейна не было ни одного оттенка акцента, сохранилась лишь сильная картавость и частое использование слова «таки». Когда он говорил, даже самые мрачные речи, на душе было немного смешно из-за его полудетского, картавого голоса, сохранившего какой-то юношеский запал. Когда Горенштейн говорил, его лицо было обычно каменным, лишь в конце войны у него иногда начинал очень заметно дергаться глаз. В умении жестикулировать Горенштейну нельзя было отказать – не было ни одной его речи, в которой он бы не разводил руками или не пытался бить кулаком воздух.

Горенштейн повел Летова в свой кабинет. Коридоры отделения изменились: стены покрасили – нижнюю половину в салатовый, а верхнюю в белый. Полы так и остались скрипучими, а двери местами все-таки заменили с коричневых на темно-синие. Летов, шагая по этому коридору, вспоминал свое прошлое, героическое милицееское прошлое, пытаясь еще слышать все, что оживленно говорил Горенштейн, часто разводя руки. Летов вспоминал своих товарищей, которые, как писала мама, почти все погибли на фронте. За всю прогулку по отделению он не встретил ни одного из знакомых, ни одного из тех, кто работал тут до войны...

Вот они дошли до конца коридора на первом этаже. Последним, девятым кабинетом был кабинет заместителя начальника отделения, в которое и завел Летова Горенштейн – удивлению бывшего работника отделения не было предела – это был его бывший рабочий кабинет. Его убранство тоже не изменилось: окно только потемнело, да хлама на столе было поменьше. А в остальном все осталось как раньше: оконная рама была все такой же обшарпанной и обстреканной, над столом висел все тот же большой портрет Иосифа Сталина, на самом столе, в окружении стопок бумаги, завернутых в упаковочную бумагу вещдоков и окурками, стоял черный карболитовый телефон с диском, такая же черная полукруглая, настольная лампа, чья лампочка была максимально нагнута над бумагами, графин, с надетым на горлышко граненым

стаканом, полукруглая, тяжелый штамп, истасканная Летовым до предела, коричневый стаканчик с тремя карандашами в нем, тяжелая, граненая, уже облипшая пеплом пепельница, с кучей окурков в ней, а на самом краю толстушая старая папка с уголовным делом. Когда дул ветер, он качал стекло, и то стучало об оконную раму – не было этой войне предела. Столик с примусом, стоящий у двери, ожидал Летова и вот, наконец-то, дождался.

«Ну, садись. Это просто какое-то... какое-то чудо!» – весело и оживленно говорил Горенштейн. Теперь он точно был радостным, хоть и ненадолго – Летов словно солнце забрел в эту серую, туманную тундру в душе Горенштейна.

«Ты как здесь, откуда?» – весело спросил Горенштейн, очищая пространство на столе, кидая в сторону кучи бумаги.

-Из лагеря – мрачно ответил Летов. – 12-го числа откинулся, пару дней ошивался там, в Канске, ну, а потом сюда поехал.

-А зачем в отделение пошел?

-Паспорт хотел получить, да сфотографироваться забыл.

-Не волнуйся, все сделаем – усмехнувшись пробормотал Горенштейн, бросая в стакан обломки карандаша. – Паспорт выдадим в короткий срок, паспортный отдел позаботится, не бойсь. Комната у тебя есть?

-Нет. Сгорела моя комната к чертям.

-А мама? Ты же про маму столько рассказывал!

-Умерла она. Года два назад уже. Вот, с кладбища пришел.

Горенштейн сильно помрачнел, видимо, вспомнив свою маму. Он немного помешкался, даже положил в рот папиросу, но потом откинул ее в сторону – не было желания курить.

-Прости – мрачно сказал он.

-Да ничего. Привыкший. Ты лучше расскажи, как тут оказался? Я то понятно, домой вернулся, а тебя как занесло в наши края, ты ж Ростовский.

Горенштейн усмехнулся, опять решил закурить, но на этот раз вообще сломал папиросу, и, тихо матерясь, высыпал ее остатки в пепельницу.

-Семья у меня была – начал он. Жена Люся, дочка Таня, сын Яков и Марк. Мама с папой жили на соседней улице, из окна нашей квартиры было видно окно их комнаты. Нам отдельную квартиру выдали, как многодетной семье, да и вообще, за заслуги мои.

-Ты рассказывал, помню – прервал Летов.

-Да... Они мне еще в сентябре 42-го писать перестали. Я тогда все понял, ну, ты помнишь, я тебе много про это говорил... – голос Горенштейна словно потонул в море боли, стихнув, а Летов лишь кивнул в ответ. – В июне 45-го я вернулся в Ростов, а до Берлина я таки дошел, жаль, что без тебя... Правда, очень жаль. Так вот, возвращаюсь я значит. Дом, где мама с папой жили – сожгли, но наша с Люсей квартира целой осталась. Во время оккупации там ССовцы жили, а мне местные и рассказали, что моих-то повели вместе со всеми к Змиёвской балке. Там их всех и убили. Родителям и жене просто мозги вышибли, а детишкам губы ядом

смазали, выродки. Как оказалось, там еще 27 тысяч похоронили наших, ростовских ребят. Ну, мне квартиру выдали обратно, я там попытался жить... Но это не жизнь была – я ревел от каждой стены. От каждой стены, от каждой царапины на полу веяло воспоминаниями о них.

Тут Горенштейн начал плакать. Он засунул кулак в рот, и стал сжимать его, но слезы все равно текли – Летов даже поразился такому до жути знакомому способу борьбы со слезами. Перед глазами Горенштейна стояли сцены, как они с Люсей качали кровати с дочкой и двумя близнецами-сыновьями. Втянув слезы обратно в душу, а, вернее, в тот ее участок, который отвечал за боль и занимал процентов 90 поверхности, Горенштейн был готов говорить вновь.

–Так вот – продолжил он. – Постоянно вспоминал, постоянно. Особенно я не мог находиться в комнате: там на полу были царапины от кровати, в которой мы укачивали их. Я ревел постоянно, все время! Я попросил переселить меня в другую квартиру. Переселили, но ничего не изменилось – выходил из дома, и постоянно вспоминал как гуляли мы тут с ними. Работать я в милиции устроился, само собой, но работать не мог вообще. Сначала плакал, даже в кабинете плакал, потом пил, да так, что очухивался по ночам где-то в грязи. Как-то глаза открыл и вижу, что лежу в огромной луже, где-то в поле. Рядом коровы бродят, траву едят, меня обнюхивают. Ну, я на следующий день пришел, попросил перевести себя куда-нибудь. Варианта два было: либо в Свердловск, либо в Новосибирск. Ну, я тебя вспомнил, ты столько про Новосибирск рассказывал, чуть ли не каждый день. Да и встретиться надеялся – помнил же, что тебя лет на пять посадили. Вот и перевелся. А тут сразу же направляют сюда, в Первомайку. Вдвойне хорошо – ты ж говорил, что тут живешь! Вот, судьба и свела.

–Да, это какая-то непонятная удача... И вправду судьба... Неужто после такой полосы неудач и черноты, хоть метрик удачи появился на этой хреновой дороге, а?

–А почему нет? Едешь, едешь, дорога земляная, размытая, а тут бац, и на тебе гравийка!

–Гравийка только это на метр или два только. А потом опять грязь, может еще более вьяская.

–Мыслями мы с тобой не сильно изменились. Душой вот только поменялись, наверное, на обоих такие испытания выпали. Ты как перенес все это?

–Я сам не знаю. Там, в ИТЛ, каждый день ждал, когда мне перо в бок воткнут. Не воткнули. Били часто, ржали, сам дрался, но не убили. Не знаю только почему.

–Быть может чтоб мне жизнь облегчить?

–А я облегчил?

–Само собой, дружище! Ты хоть и стал более мрачным да побитым, как и я, но слушать меня и понимать не разучился. Может, даже наоборот.

–Да, на обоих на нас испытания выпали. На тебя, правда, в разы тяжелее.

–Я не знаю как вынес это все. Когда тогда, в Ростове был, раз шесть пытался застрелиться. И в рот ствол совал, и к виску пробовал... Но не мог я, не мог! Понимал, что рано, что нужно еще что-то от меня в этой жизни.

–И правильно понимал.

-Ну, как видишь, да. Бандюков мы не мало тут поймали. Недавно вот поймали ублюдка такого: он людей грабил, кошельки там отбирал, кольца, вещички какие получше, а тела под поезда на Инской бросал, вроде как несчастный случай. Вот на четвертак сейчас и отправится, выродок.

-А правда у вас тут лагерь для пленных открыли?

Горенштейн аж покраснел от злости. Кровь прильнула к его желтоватому лицу, руки затряслись, и он со страшной злобой в громком голосе заговорил: «Да уж, приютили это говно! Нашли, б...ь, кого держать тут! Эти выродки работают, да работают мало, их надо заставлять по 24 часа в сутки вкалывать и дерьмо жрать! Понапривозили тут эту нечисть недобитую»

Летов лишь кивнул в ответ, ибо был во всем согласен с Горенштейном. Он же откинулся на спинку стула, резко снял с графина стакан, до краев наполнив его водой, и жадно выпил.

-Разгорячился – сказал он. – До сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что их нет. Они мне снятся, Серега! Ты понимаешь какого это, знать о преступлении, но не знать, кого наказать и кому мстить.

-Еще хуже, когда ты знаешь о преступлении, и одновременно знаешь что виновен в нем лишь ты – мрачно сказал Летов.

-Да уж, заварил ты кашу тогда... Как сейчас помню того СМЕРШовца. Хороший был мужик, помог тебе.

-Да, за заслуги мои хреновы срок не очень большой дали. Только что это дало – перед Родиной я может долг и искупил, а перед собой – ни капли.

-Ты где работать думаешь?

-А хрен знает. Паспорт получу, так и пойду искать.

Горенштейн хлопнул по колену и весело сказал: «Решено, пропишем тебя у меня в комнате. У меня как раз освободилось место – мой сосед по комнате съехал в Заельцовку, вот тебя на его место и пропишем, как паспорт выдадут. Я смогу подсуетиться – коммуналка то общая, а не милицеейское общежитие».

Летов усмехнулся и с большой долей радости в голосе ответил: «Спасибо тебе, хоть от одиночества спасешь. А от себя... от самого себя одно спасение – ты сам».

Горенштейн похлопал Летова по плечу и сел за стол. Вдруг, громко зазвенел черный телефон, от звона которого даже листки на столе дрогнули в конвульсиях.

«Зам начальника райотдела милиции капитан Горенштейн, слушаю» – четко и громко выговорил Горенштейн своим картавым голосом.

– В курсе... Да, переделываем... Так точно, сообщено на общем собрании... Да, расследуем... Отчет судмедэксперта будет готов в 19:00... Да. Так точно... Будет сделано... Вас понял... Выежаем... – медленно отвечал Горенштейн, бросив трубку. – Ладно, Серега, пора мне, на стрелочном заводе мужика толкнули, и он проткнулся там к черту, надо ехать. Тут голова кругом идет: два дня назад вышел приказ о том, что наше УгРо, да и всю милицию, передали в ведение МГБ, вот теперь тут суетятся все, надо там с отчетами разбираться, чтоб писали не МВД теперь, а МГБ. Впрочем, плевать, это так, бюрократические нюансы.

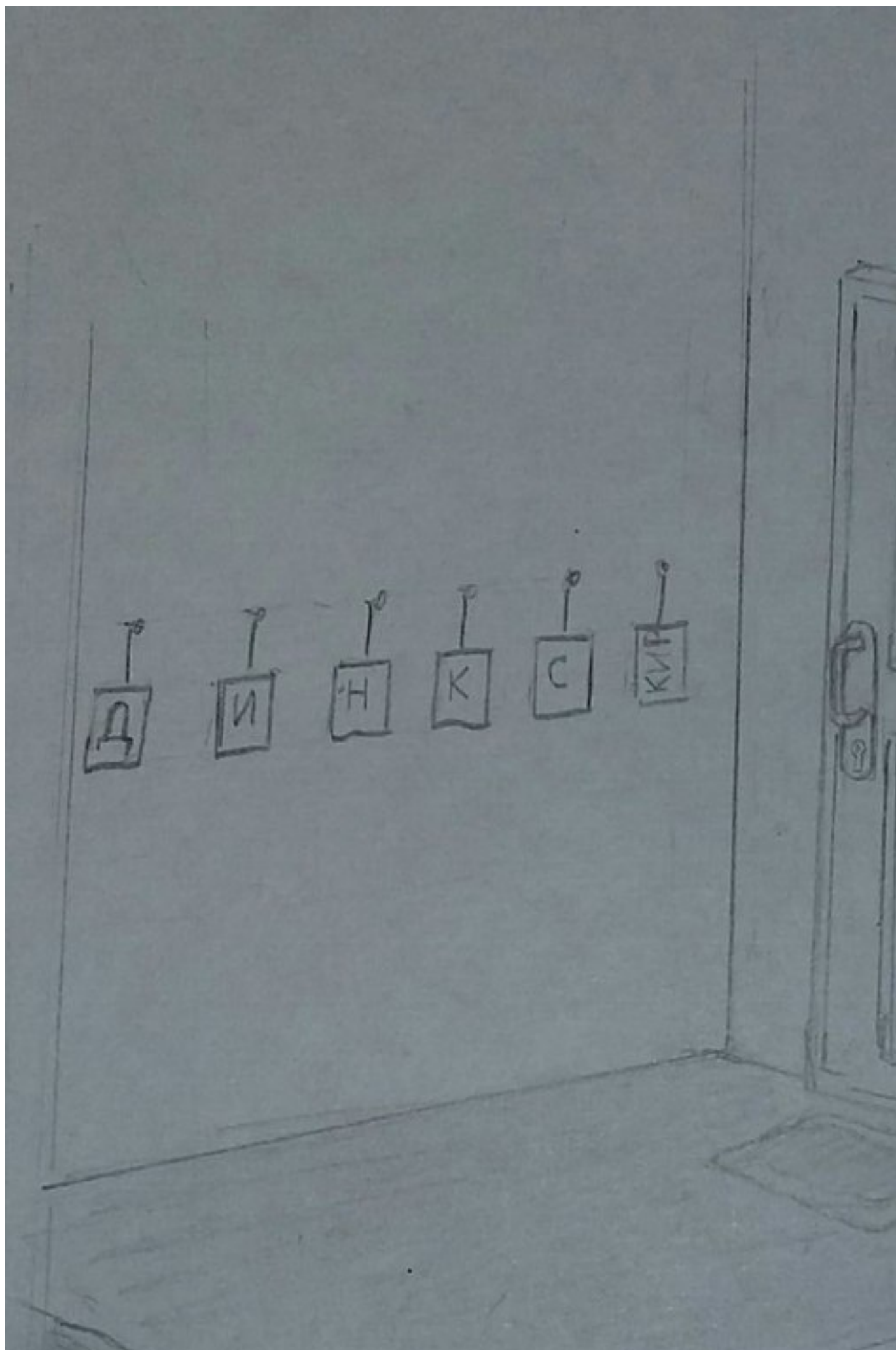
Горенштейн достал из кармана связку ключей на помятой проволоке и, одевая пальто, сказал: «Бери ключи и езжай ко мне. Улица Таловая, дом 6 комната 7. Кровать у левой стены моя, у правой – твоя. Обоснуйся там, баня рядом, спросишь у людей, сходи помойся – а то грязный весь».

Летов усмехнулся, пожал Горенштейну руку и, взяв ключи, пошел вместе с ним. Они прошли по длинному коридору отделения, сталкиваясь с мечущимися милиционерами в синих кителях и шинелях, а у выхода Горенштейн уже попрощался с Летовым.

Летов шел по улице. Двухэтажные и одноэтажные бараки, сложенные, как и из бревен, так и из досок, сочетались с двухэтажными и трехэтажными каменными домами коммуналок. Камышитовые домики, покрытые обштукатуренными с помощью дранки досками, мрачно довлели над Летовым, стоя на своей кирпичной основе. Вот стоит большой, трехэтажный бревенчатый дом в стиле изуродованного сибирской жизнью фахверка (Летов про этот стиль отдаленно слышал, когда шагал по освобожденной Европе); из дома, прорывая пелену неба, торчат массивные кубической формы торцы не спиленных лаг. Вот стоит одноэтажный деревянный домик продмага. Вот по заснеженной улице проносится синяя милицейская «Победа» и зеленый «ХБВ» в сторону Инской, где нашли труп. А вот проехала повозка, нагруженная какими-то досками, которой управлял мрачный мужик в телогрейке, своей тоской и потерянностью в глазах напоминающий Летова.

Улица Таловая пересекала улицу, по которой шел Летов. Около старого, полузаброшенного частного домика, он свернул на нее и уже видел одноэтажный засыпной дом, сложенный из светлых досок, в котором и жил Горенштейн.

Дверь в этот коммунальный дом была тоже из дореволюционных времен – видимо, снятая с усадьбы какого-то буржуа. Летов аккуратно приоткрыл ее, думая, что сейчас тишину подъезда разорвет скрип, но нет, его не было. В доме было тепло, пахло какой-то едой – кажется тушеным луком. Напротив входа, забрызганная тусклым солнечным светом, стояла деревянная стена, на которой висело чуть больше десятка серых картонных квадратиков, с написанными на них толстым карандашом буквами. Задача у этих карточек была простая – на ночь вход в единственный подъезд коммуналки было необходимо закрывать, и для этого на самой двери висела массивная железная загогулина, в которую плотно входил старый и мощный крюк. Когда кто-то приходил домой, то поворачивал свою картонку чистой стороной и тот, кто пришел последним, видел, что висеть осталась лишь его картонка – он и закрывал подъездную дверь на крюк, дабы все успели войти.



Летов пошел к седьмой комнате и увидел чистую, почти не поцарапанную темно-синеватую дверь, выделяющуюся среди общего количества коричневых, как и блестящий пол коридора, дверей. Около соседней комнаты в коридоре стоял небольшой столик с тарелками – видать, в комнате просто не хватало места для стола и семья обедничала в коридоре. Табличка с номером комнаты была на половину закрашена синеватой краской – видимо маляр разошелся и замазал табличку по ошибке.

Летов открыл дверь, очутившись в просторной комнате. Да уж, его комната в коммуналке до войны была куда меньше этой! Планировка, правда, была стандартной: по середине окно с темно-синеватыми, как и дверь, рамами, слева и справа старые кровати с однотонными одеялами, которые прижаты к белым, кое-где запачканным, стенам. Шифоньера не было: лишь к двери была прибита вешалка, а у кровати стоял комод, из которого торчали какие-то помятые рукава. У двери стоял потертый и кое-где продырявленный чемодан, в стороне от него к стене был прибит железный умывальник, под которым стоял старый, потрескавшийся белый таз. От фарфорового выключателя у двери к лампочке шел толстый черный провод, приделанный к стене фарфоровыми же роликами – специальными креплениями, которые держали провода. На столе вещей было немного: керосиновая лампа, стопка спичечных коробков, пепельница и пачка папирос, три стакана, пустая бутылка «Столичной». Рядом с книгами стояли три банки консервов – Горенштейн еще во время войны имел «неприкосновенный запас» – парочку консервов. Там же стояла чернильница-непроливайка, запачканная чернилами ручка и избитый химический карандаш, вероятно использующийся куда чаще перьевой ручки. Фотографий никаких не было, видимо, Горенштейн не мог и не хотел вспоминать чего-то из своей прошлой жизни, что, впрочем, у него не сильно получалось. Около стены стоял новенький черный будильник с двумя колокольчиками сверху и блестящим на солнце молоточком, на другом конце комнаты пылилась большая коробка с патефоном, на которой лежала небольшая стопка пластинок, наверху которой лежала новенькая пластинка Владимира Бунчикова с двумя песнями: «Летят перелетные птицы» и «Бушует полярное море». Под ней лежали еще пластинки Нечаева, Виноградова, но Бунчикова среди них было больше всего – то ли Веня так любил этого певца, то ли его прошлый сосед по комнате.

Из окна открывался вид на Таловую улицу, прохожие, бредущие по тротуару из спрессованного шлака, проходили совсем рядом с окном и даже не хотели туда заглядывать – лишь дети иногда удивленно поднимали голову. Напротив стоял чистенький частный домик с немного покосившейся крышей, к которому от деревянной калитки вела узенькая дорожка, выложенная из кирпичей – такие кирпичные «тротуары» постоянно встречались в частном секторе.

Но самым интересным было то, что у стены под лампочкой стоял небольшой столик, на котором была какая-то электроплитка, видимо, самодельная, рядом с ней парочка ножей, вилок и тарелок, местами запачканных какими-то засохшими объедками. Электроплитка выглядела так: черный металлический ободок, сильно загаженный сгоревшими кусками пищи, внутри он обделан желтоватой керамикой, а между стенок проведена согнутая спираль, которая нагревалась и производила термическую обработку продуктов. Вся эта конструкция стояла на нескольких ножках, а от нее отходил провод. Суть была в том, что розеток ни в комнате, ни в коммуналке не было – электричество подавали только на лампочки. Возникал вопрос: зачем электроплитка, если некуда ее подключить – розеток то нет, даже на кухне. Летов ненадолго задумался, пока не вспомнил, что электроплитки некоторые граждане подключали в патроны для лампочек. Да, на барахолке или у определенных мастеров можно было купить такие патроны, куда была встроена розетка, предназначенная как раз для электроплиток. Летов усмехнулся, подставил табуретку у лампочки, увидев в на удивление не запыленном черном патроне две дырки.

«Ах ты говнюк, Веня. Нашел выход из ситуации» – смеясь, пробормотал Летов.

Потом новый житель этой бренной комнаты решил сходить по нужде, уже приметив узенькую коричневую дверь, похожую на дверь в уборную. Но, открыв ее, Летов удивился – все внутри было заваленно каким-то барахлом: от старых ящиков до связок книг и пустых консервных банок.

–Тута уборная не работает мил человек – громко сказал мрачный дед, плетущийся из общей кухни – уборная в другом конце коридора.

Вскоре Летов понял, что к приходу Горенштейна нужно что-то приготовить. Однако ничего кроме «НЗ» (Неприкосновенного запаса консервов) из еды в этой комнате не было. Так что Летову нужно было сначала пойти в баню помыться, а потом зайти в ближайший продмаг и купить хотя бы картошки, чтоб ее и пожарить на этой бутафорской плитке.

Глава 3.

«Вечность впереди, вечно далека» –Дельфин

Ветер страшно дул, сочетаясь с непроглядной теменью, окутавшей Первомайку и лишь изредка на заснеженную дорогу падали тусклые огоньки керосинок отчего-то не спавших жителей частных домиков. Лошадь мерзко фыркала, пуская пар в воздух. Вот копыта застучали по чему-то твердому: это был лед. Деревья терялись во мраке, превращаясь в нечто темное и непонятное на темном же небе – тьма овладела этим рабочим районом, холод окутал его, даже паровозы замолкли на Инской, даже шум замолк на паровозоремонтном заводе, даже мат рабочих на стрелочном заводе пропал во тьме. И вот, окраины района будоражил цокот копыт и фыркание.

На старой повозке сидел странный человек. Его не было видно во мгле, но его стоит описать: глаза его отражали еще большую пустоту, чем глаза Летова, стеклянный холод этих глаз даже выделялся на общем фоне холода ночи. Вероятно, этот человек вообще не осознавал, где находится и что делает, словно он был в другом мире. На глазах были слезы от ветра – он очень редко моргал. Одет он был не по погоде: на белую рубаху была напялена серая телогрейка, неправильно застегнутая и оголявшая заledenелые участки тела, заляпанная чем-то непонятным широкая шея торчала из телогрейки, раздираемая холодом. Ноги были в зеленых галифе и валенках – они тоже были чем-то загажены. Его темные волосы, недавно помытые, развивались на ветру, местами слипшиеся в тяжелые и неподъемные треугольники. Его рот редко выпускал пар – дыхание было каким-то замедленным. Он ехал, сам не зная куда; чего-то боялся, но этот страх заглушался какой-то непонятностью, уничтожавшей его, а звуки в голове, которые никто кроме него не слышал, разрывали мозг. Он ехал вперед, изредка шлепая лошадь поводьями, и молчал. На повозке же лежало что-то, замотанное в мешок. Что-то длинное, будто елка, хотя до Нового Года было еще ох как далеко.

«Убей, убей, убей, убей» – говорил ему знакомый голос. Кучер начал мотать головой, но голос не исчезал – он лишь продолжал рвать странного человека на части.

Кто же был этот странный человек? Звали его Северьян Павлюшин. Занесенный в эту глухомань из белорусских степей, он уже жил в Первомайке четыре года. Галлюцинации всех видов часто мучали его, но куда страшнее была головная боль – она была, порой, просто невыносимой. Поначалу она появлялась редко, но в последнее время усилилась и участилась, а галлюцинации, словно в стоворе с головной болью, стали проходить к Северьяну чаще и становились все более ужасными. Он слышал какой-то непонятный голос, изредка видел какого-то мужчину, говорящего этим же голосом, а иногда ему казалось, что кто-то его трогает.

Головные боли у него появились после ранения, полученного в 1943 году, под Курском. Во время очередной атаки Павлюшин бежал вперед. Повсюду рвались снаряды, свистели пули. Его товарищи падали один за другим, прошиваемые свинцом или разрываемые осколками. Он бежал вперед. Огонь становился все более невыносимым, все более страшным. Вот замертво упал его взводный. Павлюшин понял, что смерть рядом, он понял, что бежать ему осталось

недолго – словно какое-то чувство близости смерти окутало и разорвало все тело. Вдруг, рядом с ним прогремел взрыв. Огромный кусок раскаленного железа на страшной скорости влетел в голову Павлюшина, проломив ему череп и войдя в мозг. От удара Павлюшин аж отлетел метра на три, шея выгнулась так, как никогда не гнулась. Шансов на выживание у него почти не было, но медбраты вытащили его с поля боя. Врач вынул осколок, забинтовал пролом, но был уверен, что Павлюшин не выживет, но он выжил, выздоровев спустя полтора года. С тех пор его начали мучить головные боли, усиливающиеся и учащающиеся с каждым месяцем этих долгих пяти лет. Павлюшин пытался заглушить их алкоголем, но, видимо, только усилил. Бывало, он приходил в себя, и, крича от боли, полз к столу. Трясущимися непонятно от чего руками он выливал водку себе в рот, частично разливая ее по лицу, и вновь оказывался в беспамятстве. Во время этого беспамятства ему виделись страшные, ужасные видения, виделись трупы, жена, его в этих видениях четвертовали, рубили топором. Когда Павлюшин приходил в себя окончательно, он опять пил, потом галлюцинации возвращались, и это чередование уже становилось постоянным и невыносимым. Порой Павлюшин начинал с ними «драться», круша все вокруг, или беседовал с ними, или пытался спастись от них, затыкая уши и закрывая глаза, но, само собой, безуспешно.

Что же он вез и куда ехал? Почему он почти не двигался и не осознавал, что происходит? Ответ прост: он проиграл.

Буквально минут двадцать назад он пришел в себя после очередной головной боли. Лицо жгло от разлитой водки, в комнате воняло какой-то гнилью. Павлюшин еще выпил, сев на стул с облегчением: «Они» еще не пришли.

Тишину барачной комнаты, холод которой нарушало лишь тепло от печки, разодрал стук – к Павлюшину пришел его недалекий друг, деревенский парень Льдов, общаться которому было просто не с кем, вот он и коротал вечера в компании Павлюшина, просто не понимая, что его «другу» нужна помощь.

Льдов, начавший говорить, был рад тому, что Павлюшин иногда даже реагировал – не часто это бывало в последнее время. Но говорил все больше Льдов: рассказывал про то, что «Летят перелетные птицы» Бунчикова на пластинках выпустили.

Минут через пять Павлюшин полностью перестал реагировать, чего Льдов, греющийся над «буржуйкой» руки, даже не заметил. Вдруг, совершенно неожиданно Павлюшин вскочил, закричав «Хорошо!», схватил топор, с какого-то черта лежащий посередине комнаты, и ударил Льдова по испуганному лицу. Тот закричал, рухнув на буржуйку, и вскоре получил еще с десяток жутких ударов топором по голове и, вскоре, уже лежал мертвым, даже не чувствуя, как руку обжигала железная оболочка печки.

Удары не прекращались – Льдов уже давно был мертв, а Павлюшин все рубил и рубил, заливая и себя, и пол кровью. Минуты через четыре этого жуткого действия Павлюшин отскочил в сторону, будто обжегся, уронил топор в лужу крови и заledenел, ужасаясь увиденному – в его комнате с какого-то черта лежал изрубленный труп.

Решив спрятать труп, Павлюшин принялся заворачивать его в какую-то тряпку и привязал грузила – Льдова было решено утопить. Занимаясь всем этим жутким действием, Павлюшин постепенно скатывался в свой мир безумия, пелена отчаяния и мрак галлюцинаций охватывали его разум, мир вокруг наполнялся какими-то шумами и воем, голоса выделялись на общем фоне, приказывая тащить труп к повозке.

Павлюшин остановил повозку, слез с нее, и со странно-ужасной улыбкой потащил замотанного Льдова к озерцу. Павлюшин, обладающий недюжинной силой, которая, впрочем, уже уходила в никуда под гнетом ухудшающейся болезни, хорошо раскачал и кинул труп на середину заледеневшего озерца. Тонкий октябрьский ледок проломился и утяжеленный сверток пошел вниз.

Павлюшин стоял и смотрел на этот пролом во льду взглядом неимоверного наслаждения, во мраке он видел, как вода темнеет от крови. Его внутренний мир ликовал, но заглушенный, пригубленный голос разума внушал небольшой страх, который терялся в общем потоке мыслей и врезался в толстенную стену сумасшествия, врезался в границы «внутреннего мира» Павлюшина. Так что он чувствовал лишь какие-то отголоски, притупленные отголоски страха. Страх уничтожало наслаждение. Адекватность уничтожало сумасшествие.

Труп коснулся дна. Но после этого Павлюшин стоял так еще долго, словно в ступоре не мог пошевелиться, моргнуть, он даже не чувствовал ночного холода, легко окутывающего плохо одетого человека.

Вдруг, границы его внутреннего мира рухнули, пелена немного слетела с разума и Павлюшин осознал происходящее. Он качнулся, вскрикнул и упал в окровавленный снег, который принялся обжигать его потрепанные ладони словно кипяток. Павлюшин заплакал, ненадолго осознав, какой ужас он натворил – на глазах вылезали слезы, но уже не от ветра, а от ужаса, голова болела так жутко, словно кто-то пытался ее разломить изнутри; казалось, что внутри вместо мозга какая-то каша: все мысли были скомканы и изжованны, вой ветра и тишина ночи заглушалась какими-то непонятными шумами, а шепот голосов постепенно усиливался, переходя в приказного тона громкий голос.

Период просветления закончился. Перед глазами вновь встала муть, голоса стали невыносимо кричать, и теперь Павлюшин отчетливо слышал крики: «убей, убей, убей!». Он поднялся, сгреб окровавленный снег в озерцо, лед на котором треснул, уже нормально застегнул телогрейку и, стеганув лошадь, поехал обратно. Лошадь фыркала, копыта стучали, ветер выл, темень не исчезла, но Павлюшин опять ехал просто не осознавая куда и зачем – он вновь спустился в воспаленные подвалы его больного мозга.

Павлюшин уже скакал по лесной дороге около частного сектора. Голоса кричали невыносимо, он постоянно крутил головой и стонал от боли: его мозг разрывался на части его же психикой.

Вдруг он увидел Ольгу в лесу, стоявшую с ружьем, направленным на Павлюшина. Закричав, обезумевший кучер на полном ходу выпрыгнул из повозки, влетев в огромный сугроб, обжигающий все его лицо и руки. Но, вскоре, Павлюшин вскочил, схватил огромное бревно и с криком бросился в лес, проваливаясь голыми ногами в снег – валенки уже давно утонули где-то в сугробе. Несясь с пыхтением по лесу, Павлюшин совершенно ничего не понимал, даже того, что Ольги нет уже более четырех лет. Вдруг она выстрелила, дробь разодрала стволы деревьев, а Павлюшин опять отпрыгнул в сторону, опять упал в сугроб и опять вылез. Добежав до дерева, где стояла Оля, Павлюшин ее там не нашел и принялся озираясь по сторонам, махая бревном. Голоса кричали: «убей», ветер дул, а Первомайка засыпала после предпоследнего рабочего дня.

Так, стоя по колено в снегу и держа в красных от холода руках бревно, Павлюшин озираясь около минуты. Вдруг он почувствовал прикосновение к спине, резко развернувшись и со всей силы ударив ствол дерева бревном. От неожиданного удара по спине Павлюшин рухнул в снег, над ним стояла Оля, направляя ствол ружья в лицо. Ударив ее по ногам бревном, Павлюшин вскочил и стал разносить ее голову ударами, разнося, на самом деле, глубокий сугроб.

Разорвав приятный глазу бугорок снега, Павлюшин поплелся обратно к повозке, испуская клубы пара. Садясь за лошадь он испугался – труп то нужно было спрятать. Но никакого трупа в лесу не было видно – видать, Они помогли.

Так, улыбаясь неожиданной помощи, он доехал до барака. Полусгнивший, серый, покосившийся одноэтажный домик, со старыми, кое-где побитыми стеклами, стоял недалеко от стрелочного завода. Треугольный проход в чердак на крыше зловеще выделялся из угловатой прямолинейности крыши, два сгнивших крыльца, заваленные никогда не чистившимся снегом, с недовольством встретили единственного жильца, оставшегося в этом полузаброшенном

временном бараке без стекол. В нем когда-то жили разнорабочие и дворники, эвакуированные вместе с заводом, но их всех уже давно переселили в новые бараки, а Павлюшина оставили в этой холупе – его комната была не сильно поношена, да и из-за частых жалоб на «пьяные крики» от бывших соседей, Павлюшина решили оставить жить одного. Впрочем, его это обрадовало – на жилищные условия ему было плевать, зато никто не долбил в дверь на крики, не винил за вонь и постоянные пьянки. Да и Олю легче поймать в пустом бараке – можно не бояться ничего крушить. Однако Павлюшина удивляло то, что в последнее время Оля стала редко приходить – постоянно был страх, что она готовит заговор против него. Павлюшин верил в то, что Оля дала взятку директору стрелочного завода, он подговорил какого-нибудь работника, чтоб тот подсыпал Павлюшину в ведро отравляющий газ, и когда Павлюшин это ведро возьмет, надышится им и умрет. Он когда это Льдову рассказал, тот лишь усмехнулся, посчитав это за смешную шутку. Либо Льдов не видел лица Павлюшина, когда тот это говорил, либо своими тупыми мозгами не понял того, что Павлюшин говорит это всерьез, с широченными дикими глазами, полными страха и готовности «действовать». Впрочем, Павлюшин сам иногда удивлялся тупости Льдова – тот даже не знал ни одного района Новосибирска кроме Первомайского, не знал столицы СССР, и даже не помнил, в каком городе его ранили, хотя, это даже сложно и ранением назвать.

Льдова призвали в армию в мае 1942-го, и он веселым поехал в эшелоне на фронт. Но в «каком-то городке тама, около большого такого города», как говорил сам Льдов, он сказал что-то глупое или обидное, и будущие солдаты хорошенького его побили. Эшелон с его «избавителями» уехал на фронт, а Льдов провалялся в тыловом госпитале. В итоге правая рука у него не разгибалась до конца – служить он просто не мог и отправился домой, просто не понимая своей удачи; лишь мама плакала от счастья – на фронте бы этот дурак погиб в первом бою.

Павлюшин зашел в барак. В коридорах кое-где лежал снег, задуваемый туда из разбитых окон комнат, поломанные стекла стучали, лед на стенах блестел от только появившейся Луны, а по самому полу гуляла разнообразная канитель крутящегося снега.

Павлюшин зашел в свою комнату, бросил дров в печку, зажег керосинку и упал на старую кровать, вскрикнувшую от тяжести его укутанного тела. Огонь трещал, вдалеке слышался вой, еще дальше он слышал стук поезда и гудки паровоза, а улыбка и вовсе не сползала с лица.

Комнату Павлюшина, спрятавшуюся в самом конце коридора, стоит описать отдельно. В ней, кроме залитого какими-то жидкостями и заваленного объедками и картофельной кожурой столика, да старой, изорванной, грязной, воняющей испражнениями кровати ничего не было. Павлюшин потерял к себе всякий интерес, перестал заботиться о себе и своем внешнем виде, часто спал на грязном полу и не мылся месяцами, порой чеша голову до крови под ногтями. Окно было старое, грязное, ни разу не мытое. На полу был толстый слой пыли, в котором лежало огромное количество оборванных кусков сургуча, пустых бутылок, засохших картофельных очисток и яичных скорлупок. Стены были голыми, деревянными, от них веяло холодом, прорывающемся сквозь щели из соседней, навсегда заброшенной, комнаты. В углу стояла буржуйка, в которой и трещали злобные обрубки деревьев, около нее лежала горстка дров, недавно принесенных с завода, а деревянный пол рядом был превращен в изрытую обуглившимися траншеями яму. На столе, в окружении объедков и еще кучи пустых водочных бутылок, стоял примус, керосиновая лампа и горстка спичечных коробков «Сибирь», на краю стояла недавно начатая измятая пачка папирос. Примус же стоял на старой книге Толстого, которую Павлюшин возил с собой в качестве подставки, ни разу ее даже не открыв. Больше книг и уж тем более фотографий в этом свинарнике не было – только где-то в глубине чемодана был спрятан конверт с черно-белыми фотокарточками. Дверь была старая, тоже не крашенная, к ней была прибита вешалка, но Павлюшин ей почти не пользовался: лишь изредка он снимал свой фартук дворника (если не забывал), а спал и находился в этой комнате он обычно в верхней одежде: старых военных галифе, выгоревших уже практически полностью, с жуткими швами-

рытвинами на коленях, черной «Москвичке», плотной синеватой рубаше и до жути загаженном сером свитере. На вешалке должна была бы висеть телогрейка и шапка-ушанка, но они лежали в пыли где-то под дверью – Павлюшин просто сдирал их с себя и бросал в пыль. Около двери стоял белый шкафчик, который, по идее, должен висеть на стене, но ни желания, ни времени прибить и повесить его у Павлюшина просто не было. В шкафчике стояли пустые банки из под огурцов, варенья и других вкусностей – Льдов иногда ему дарил их, бабушки всякие давали в качестве «зарплаты» за незатейливую работу, которую Павлюшин делал по их просьбе года два назад. Топор лежал на стуле около стола. Тусклый свет керосинки освещал это убогое жилище убогого человека, а на стены падали жутковатые тени от бутылок и примуса. Огонь стучал, тепло побеждало холод, Павлюшин улыбался и лежал на своей грязной кровати.

Вдруг он увидел, что за столом сидел Он – военврач, который лечил раненого Павлюшина в госпитале.

–Ну здравствуй, Северьян – сказал врач, чей голос отдавал каким-то непонятным эхом.

-Здравствуйте, Валерий Михайлович...

-Как поживаешь?

-Голова частенько болит. Оля отравить хочет. Врага, который мне газ в ведро слить должен был, я сегодня убил.

-Все правильно сделал. Враги они такие, коварные.

-Вы правда так считаете?

-Конечно, Северьянушка, конечно.

-А где вы были столько лет?

-Я... у других пациентов. Настало время и тебя уму-разуму научить.

-А я разве ему не научен? Девять классов я закончил, если что!

-Я не про тот ум. Какое мне дело до того, что ты про буквы знаешь. Я хочу тебя убедить в том, что твоя главная задача тут – это очистить Землю.

-Это как?..

...Горенштейн стоял и курил. Протокол осмотра места происшествия был записан, показания всех трех свидетелей тоже преобразовались из скудной речи в отфильтрованную писарем кучу загогулин на желтоватой бумаге. Ветер, несмолкаемый и вечный, трепал старую бумагу, которую Горенштейн испачканными в чернилах и химическом карандаше руками, укладывал в свою коричневую сумку.

«Протокол готов, труп сейчас увезут к судмедэксперту... О, вот и труповозка приехала» – мрачно пробормотал Горенштейн, смотря на то, как большой грязновато-белый «ГАЗ-55» подъезжал к лежащим на снегу носилкам с накрытым трупом железнодорожника, который скоро загрузили во внутрь и повезли в сторону райотдела милиции.

Из-за пыльных окон милицейской «Победы» виднелся серый город. Покосившиеся заборы, потрескавшаяся известка коммуналок, мрачные входы в продмаги, сгорбившиеся ста-

рики и укутанные старухи в местами порванных телогрейках. Машина неслась по улице Шоссе, разбрызгивая в сторону черный снег, а смеркающееся небо было серым: скоро должен был начаться дождь, который и смоем этот преждевременный и никому не нужный снег.

Летов же, наконец, помылся. Он вышел из одноэтажной бани, даже немного веселым – и вправду говорят, баня и душу может «подлечить». Ветер обдул его чистые и блестящие волосы, пока Летов не накрыл их черной кепкой. Теперь надо было зайти в продмаг и купить картошки с хлебом, чтоб пожарить на самодельной электроплитке у Горенштейна.

Зайдя ближайший магазин под номером 22, Летов аккуратно прикрыл деревянную дверку, избиваемую ветром. Где-то вдалеке был слышен шум стрелочного завода, смешивающийся с далеким громом и сверканием молнии, которое прорывалось сквозь выгоревшие занавески в окошке продмага. Небо стало совсем темным, солнце скрылось за нескончаемыми, темно-серыми тучами, количество которых все росло и росло из-за дующего ветра, и уже каждый понимал, что скоро на Первомайку обрушится страшный ливень.

У мрачной и пожилой продавщицы, весьма грубой, он купил буханку хлеба, полкило картошки, комбижира и еще одну чекушку водки – от утренней осталось не так много. Упаковав все это в коричневатую упаковочную бумагу, Летов направился в коммуналку Горенштейна, пытаясь идти как можно аккуратнее и быстрее, ибо на снегу уже виднелись редкие пробоины от капель начинающегося осеннего дождя, который был просто водой для людей и подобен кислоте для умирающего снега. Летов перебежал на другую сторону, за ним пронеслась «Полуторка», стуча своим кузовом, на изредка встречающихся железных крышах уже были слышны удары капель дождя. Летов, к счастью, успел дойти до коммуналки. Только он снял пальто, разложил продукты, на улице уже начал бушевать дождь: небо обрушило всю свою водяную мощь, словно бомбардировщики бомбы. Капли падали на землю, разлетались в клочья от удара по ней, они убивали снег, превращая его сначала в кашу, а потом в воду и вся эта мешанина медленно стекала вниз по Таловой улице. Капли били по крышам, порождая мерзкий стук, падали на людей, заливая их пальто и кепки водой.

Летов какое-то время смотрел в окно на суетящихся людей. На нормальных людей, на людей, не несущих за собой бремя страшного преступления. На людей, которые не вспоминают через каждый час лица тех, кого они убили. Лица тех, кто мог сейчас жить и быть счастливым в совсем другой стране. Лица тех, кто невиновен, кто ни причем, кто ничего не сделал. Самое ужасное, что те, кто по-настоящему виновен, сейчас живы, и возможно, даже счастливы. А те, кто невиновен, сейчас лежат в холодной австрийской земле, убиенные несчастным старлеем. Бывшим лейтенантом, который искупил долг перед Родиной, но не искупил долг перед собой – и, наверное, уже никогда не искупит.

Нужно было готовить. Первым делом Летов пошел к умывальнику, разодрав тишину комнаты грохотом капель о железную поверхность таза. Раковина была одна в коридоре, но Горенштейн повесил у себя умывальник, который изредка ходил наполнять к этой самой одинокой раковине.

Помыв и почистив картошку, попутно порезав палец, Летов влез на табуретку и воткнул провод от электроплитки в розетку, которая была мастерски встроена в патрон лампочки. Спираль плитки начала раскаляться, выпуская тепло в холодноватый сумрак комнаты. Сковорода, подчинясь теплу спирали, тоже накалялась и этот поток теплоты уже был готов расплавить кусок комбижира, а потом и поджарить брошенную в этот кипящий ад картошку.

Горенштейн мрачно глядел из окна машины на то, как Первомайку заливало страшным ливнем. Колеса «Победы» разбрызгивали уже практически полностью уничтоженный водой снег, а дома размазывались в окнах. Водитель свернул на Таловую улицу, вдавив педаль газа, а «Победа», хлюпая грязью, медленно остановилась.

...Павлюшин же лежал на кровати. Он даже не снял своего грязного фартука, после подметания на заводском дворе, провалившись в состояние обморока: невероятная головная боль

в районе шрама сделала свое дело. Вдруг он очнулся, испугавшись расплывчатого вида своей загаженной комнаты. Павлюшин медленно поднялся, но руки сильно тряслись, как-то неимоверно сильно. Качаясь, Павлюшин подошел к столу, на котором стояла бутылка водки, схватил ее и опрокинул, в надежде вылить так необходимый ему напиток прямо в рот – но это было невозможно, руки сильно тряслись, и вся водка разлилась по окровавленному лицу. Вдруг острая боль ударила по голове, Павлюшин, издав протяжный крик, рухнул в толстый слой пыли и принялся кататься по полу, пытаясь от этой боли спастись. Как только боль ушла куда-то в глубину головы, пришли голоса.

«Убей, убей, убей» – страшным и загадочным голосом говорили они. Непонятно только чей это был голос – мужской или женский, но этот голос был настойчивым и навязчивым. Слово «Убей» уже слово вырезалось в его мозгу.

«Нет, нет, не хочу, нет» – орал горе-дворник, но «голоса» не слышали его криков. Схватив топор, Павлюшин принялся носиться по комнате, распахнув дверь выбежал в занесенный снегом и окутанный мраком ночи коридор.

«Я знаю, вы тут твари, вы тут!» – кричал Павлюшин, размахивая топором. И вот опять она, опять его надоедливая жена – он бросился на нее, повалил на пол и уже в который раз пытался зарубить ее. Казалось, что ее кровь заливала лицо Павлюшина, но он кричал и бил, кричал и бил. Вдруг жена словно испарилась, как дым и Павлюшин увидел изрубленный участок пола. Рыча и зверски глядя вперед своими страшно белыми глазами с черной точкой сузившихся зрачков, Павлюшин плелся вперед, снеся голову словно выросшему из пола Льдову. Так Павлюшин пробежал еще минут пять по своему пустому жилищу, давя разбитые стекла и ударяя топором по несчастным стенам. Вернувшись в комнату, на Павлюшина опять напали голоса, он кричал, носился, бился о пол и стены, давил лицо подушкой. Минут десять он пытался их заглушить, но они становились все громче, все ужаснее и надоедливее. На пике своего ужаса голоса вновь ушли и потный Павлюшин, бросив на кровать подушку, принялся оглядываться по сторонам. Тусклый свет керосинки почти погас, мрак бил в окно, ужас заполнял эту несчастную комнату.

«Чур меня, выродки, напугать хотите, тупые твари!» – орал Павлюшин, ища топор. Развернувшись он увидел, что на кровати сидит он. Военврач.

«Здравствуй, родной» – своим голосом с эхо пробормотал незванный гость.

-З..здравствуйте – мрачно ответил Павлюшин.

-Не забыл наш вчерашний разговор?

-Никак нет, все помню.

-Голова не болит?

-Сейчас нет, но недавно болела. Думаю, скоро опять заболит.

-Значит, самое время поговорить, друг мой.

Тут военврач испарился, в голову Павлюшина опять вступила страшная боль, смешанная с криком каких-то женщин и детей в его голове. Крик и катания по полу, пугающие холодные стены этого барака, продолжались пока Павлюшин вновь не потерял сознание.

... «Приехали, товарищ капитан» – пробормотал водитель-ефрейтор. Горенштейн попрощался с ним, выйдя из машины и быстро побежал под водной бомбардировкой к двери в коммунальности. Знакомый скрип досок пола, знакомые лица ужинающей за столом в коридоре

соседской семьи, знакомая дверь, которую он впервые открывал с радостью – за ней был боевой товарищ.

Картошка уже была разложена, водка разлита по граненым стаканам, вилки вымыты. Две тарелки, две вилки, два стакана. Для двух несчастных людей с несчастной судьбой.

«О, Серега! Ты не представляешь, как я рад, что ты сейчас тут и встречаешь меня. Все лучше, чем мой предыдущий сосед, и намного лучше, чем одиночество» – снимая шинель и отряхивая фуражку от капель дождя, картаво сказал Горенштейн.

– Я тоже рад – мрачно ответил Летов.

– О, ты и сготовить успел?

– Да. Кстати, товарищ капитан, закон нарушаем? У тебя патрон для лампочки со встроенной розеткой.

Горенштейн усмехнулся, посмотрев на остывающую плитку, и ответил: «У нас тут домоуправляющий трус, ко мне ни разу не зашел, да и не зайдет – боится милиционера-то. С моими соседями по коммунальности кухня всегда занята, сготовить там что-то вообще не возможно, да и лишний раз выходить из комнаты не охото. Вот я и съездил в Заельцовский район на барахолку, купил там у мастеров такой патрон и электроплитку. Таких умельцев там пруд пруди, а стоит совсем не дорого. Ну, умывальник здесь и так висел, что меня радует, потому что таким макарон можно из комнаты вообще не выходить. Утром ушел, вечером пришел, тут и помылся, и сготовил, и поспал. Не люблю я смотреть на людей, особенно на счастливых людей с недавних пор. Очень не люблю».

– В милиции с этим – ответил Летов – самое то. Счастливых людей видишь редко. Кругом то всякое дерьмо, то смурные товарищи в синем.

– Это ты точно подметил. Спасибо, что приготовил. Я уж думал ты таки и не подумаешь об этом.

– Я как пришел, сразу удивился, что у тебя плитка есть, когда розетками тут и не пахло – электричество то только на лампочки. Я бы понял коли примус был, но плитка! Патрон посмотрел и понял все. А ты молодец, что не испугался.

– Да чего бояться то? Все равно ко мне никто не заходит. А если поймают, то мне нечего терять. Все, что можно, я уже потерял.

– Даже себя?

– Даже себя. А ты разве нет?

– Я и подавно. Знаешь, однажды давно меня спросили про то, кто я такой есть, но я не ответил, потому что просто не хотел. Если сейчас у меня такое спросят, то я тоже не отвечу, но уже просто потому что себя не знаю. Это вечная моя беда, увы. Просто если раньше, до войны, это не так сильно ощущалось, и я не так сильно это понимал, то теперь осознание становится все ярче и ярче. Хотя, ярче не очень подходящее слово

– А почему так? – мрачно спросил Горенштейн.

– Не знаю. Может, потому что никто не помог мне понять этого.

Водку выпили залпом. Картошку ели молча, с жадностью – все помнили голодные времена войны, а Горенштейн и первые послевоенные годы. Вскоре все было съедено, и старые друзья стали пить водку, закусывая уже просто хлебом. Минут через пять этого скудного молчаливого застолья свет лампочки резко оборвался, произошел хлопок и мрак осеннего вечера опустился на комнату.

– Вот проклятие – шипя пробормотал Горенштейн, допивая водку. – Надо новую вкручивать. У тебя спички есть?

– Да – односложно ответил Летов, зажигая сразу спички три.

Тусклый свет полыхающих спичек бросился на мрак комнаты, разрывая его и помогая Горенштейну отыскать дорогу к двери. Из комнаты он направился напрямик к неработающей уборной, где, недолго порывшись и повалив на пол парочку пустых консервных банок, отыскал запыленную лампочку. Немного качаясь, он вновь добрался до мрака комнаты, подставил себе серую, немного расхлябанную табуретку и вскоре свет лампы вновь разорвал темноту этой комнаты.

– Тут недавно – запинаясь от опьянения говорил Горенштейн, пока вкручивал лампочку – управление электросетей ремонтировало линии электропередач и электричество отрубили во всем городе – от Красного проспекта, до самой захолустной коммуналки Первомайки аж на четыре дня! В начале октября это вроде было. Я первое время со свечкой сидел, еле успел ее в продмаге купить, а потом отдал соседке с двумя детьми – у нее кончилась, да и ей нужнее, все-таки детишкам в темноте неудобнее, чем мне. И я вот сидел тут. Готовили мы все на общей кухне в печке, но я и ел то мало, все больше неприкосновенный запас свой.

– Веселая у вас тут жизнь. У нас в лагере с электричеством проблем не было.

– Да в Новосибирске частенько что-то происходит. Недавно вот видел в «Советской Сибири» заметку про то, как у станции Кривошеково что-ли, пытались дозвониться до «Скорой» пол часа, ясен пень не дозвонились, и, в итоге, кто-то пешком добежал до больницы, да врачей позвал.

Сидя уже при свете лампы и допивая водку, Летов решил спросить: «Веня, а что там про перевод в МГБ ты говорил?»

– А, это – с простотой начал Горенштейн – 17 октября нам прислали приказ о том, что Главное управление милиции, а, следовательно, и наше Управление уголовного розыска, переводятся из ведения МВД в МГБ, то есть в Министерство государственной безопасности. Это такой бред, столько мороки с этим. Всякая бумажная волокита, замена печатей, наименования должностей и так далее. Не вижу в этом никакого смысла, но все равно приходится делать.

– Такое чуть ли не постоянно в жизни...

– Да знаешь, тут один мой товарищ по работе, беларус, ездил недавно в Минск на последние деньги. А у него то ли мать, то ли отец латышами были. Так вот, он говорит – висит там в Минске вывеска: «дзива продолжает удивлять», а по-белорусски «дзива» – это чудо. А с латышского знаешь как «дзива» переводится?

– Как?

– Жизнь. Вот и вправду, жизнь порой сильнее любого чуда удивляет.

Помолчали. Выпили, закусили, еще выпили; когда хлеб кончился – синхронно вздохнули, чокнулись и выпили уже залпом, без закуски.

– Расскажи как все это произошло – сказал полупьяный Горенштейн. – Я же про тебя после всей этой истории ничего и не знал, ни слухом, ни духом.

Летов помрачнел, вздохнул, и стал вспоминать, попутно рассказывая Горенштейну.

Все это произошло 12 апреля 1945 года. Город Вена почти полностью был очищен от немцев, но для полного освобождения австрийской столицы оставалось еще выбить несколько небольших отрядов СС.

Длинная улица, повсюду заваленная обломками домов и трупами в шинелях, тянулась вдаль. На душе стоял какой-то страх и параллельно с ним просыпался невероятный, страшный, животный инстинкт ненависти, которая словно яд сжигала все нутро Летова. Четверо бойцов, в побелевших от извести шинелях, шли вперед. Вещмешки били по спине, руки коченели от тяжести «ППС». Летов шел впереди всех, часто озираясь по сторонам. Истертые сапоги давили старый кирпич, прессовали известку, огромные кучи обломков преграждали путь, в лужах крови и кучках гильз лежали трупы, а солнце окончательно скрылось за клубами дыма и бело-коричневой пыли. Вдруг из окна дома начал зверски палить пулемет. Пули врезались в мягкую подушку пыли, в твердую плоть камней, оставляя на них черные пятна, проделывали новые дырки в трупах. Бойцы сразу вскинули автоматы, и, не глядя, стали палить по дому, начался перекрестный огонь, а еле успевшие спастись солдаты оттащили за кучу камня изодранного пулями командира Летова, тяжело дышащего своим развороченным животом. Перекрестная стрельба была ужасной: лютый грохот выстрелов сочетался с невероятным криком раненых, криком, который резал и без того изуродованную душу. Пальба, бросающая в ужас всех, длилась еще пару минут, как вдруг стало тихо.

Летов подбежал к своим. Немцы попрятались в доме.

– Т...т...товарищ с... старший лейтенант – заикаясь от ужаса стал говорить молодой ефрейтор – тут товарища капитана ранило...

Капитан орал, а из его рта лилась кровь, заливая шею и шинель. Три пули влетели рядом друг с другом в живот, разворотив все внутри. Так продолжалось еще секунд тридцать, пока крик неожиданно не прекратился, а капитан, издав стон, вылил небольшую стопку крови из рта и замер со стеклянным взглядом. Закрыв убитому побелевшие от пыли глаза, Летов снял с ремня запасной рожок к «ППС» и быстро перезарядил свой пустой автомат.

– Значит так – мрачно начал Летов – рассредоточиваемся, сержант и рядовой идут в дом справа, я и ефрейтор в дом слева. Долбайте по всему живому, косите все, что движется – наших там нет, только эти выродки. Пошли!

Солдаты разбежались. Летов, уже осознавая, что странная пелена окутывала мозг и глаза, бежал к раздолбанному окну в дом. Когда он неся по лестнице, он уже ничего не слышал кроме раздирающего все писка и скрежета, виды развороченных и изрешеченных пулями стен размыто качались перед глазами. Руки железной хваткой сжимали автомат, ноги в изорванных галифе несли это не соображающее тело вперед. Ефрейтор, изредка всхлипывая, бежал за Летовым.

Второй этаж был чист – коридор завален обломками и трупами, а стены, с выломанными дверями, повсюду заляпаны кровью и копотью. Среди трупов немцев с нашивками «СС» на рукавах, лежали трупы красивых австрийских женщин, в изорванных и окровавленных платьях.

Летов вбежал на третий этаж, сразу заметив прятавшегося в чей-то квартире ССовца. Машинально выкрикнув что-то ефрейтору, сам не понимая что, Летов упал за камни, а ефрейтор готовился сделать тоже самое, пока его не прошла очередь из пулемета. Пулеметная очередь, стон ефрейтора и крик ССовца – все это смешалось в почерневшем от копоты коридоре

австрийского жилого дома, однако Летов не слышал ничего – лишь визг и скрежет, визг и скрежет.

Летов, недолго думая, сорвал с пояса гранату и, зарывав, кинул ее в комнату с ССовцем. Немец громко выругался прежде чем его разворотило осколками и разорвало взрывной волной, а из развороченного окна вырвалось пламя, оно же выломало стену соседней комнаты, вырвавшись из двери.

Старлей привык к таким взрывам, но в этом случае взрыв окончательно добил его – все вокруг помутнело, словно на глаза опустилось черное покрывало взамен пленки, в ушах творился какой-то бред: несмолкаемый скрежет смешивался с грохотом взрыва. Поднявшись, он увидел, что изо рта рекой лилась слюна, словно изо рта бешеного пса. Летов рычал, изредка мотая головой, изорванная фуражка осталась меж камней и теперь его маслянистые и белые от известки волосы тряслись вместе с головой. Летов шел вперед, ожидая расправы. Расправы с кем? С самим собой или воображаемым им же врагом?

Войдя в комнату он увидел, что пол, как и обычно, завален обломками кирпича, кучей осколков от тарелок, бутылок, оконных стекол, и другим изломанным барахлом. Около почерневшей от взрывов кровати сидели двое: мужчина и женщина средних лет. Круглое лицо мужчины, белое от известки, прилипавшей к поту, и украшенное круглыми очками без стекол, словно выросло из очень короткой шеи, вжатой в изорванный пиджак, спрятанный под черным плащом. Женщина без талии, укутанная в белую шаль, скрывавшую ожоги на плечах, вжималась в испуганного мужа, слезными глазами таращилась на автомат, а ногами в туфлях с обломанными каблуками собирала пыль в какие-то альпийские горы.

Они были жутко напуганы – аж тряслись от ужаса, словно листья на ветру. Мужчина тихо и неразборчиво бормотал: «Nicht nötig²», но Летов в тот момент ничего не понимал, в первую очередь, того что происходит вокруг. Он лишь рычал, как волк, из его рта капала слюна, а на лице виднелись небольшие царапины, из которых сочилась кровь – это было жуткое лицо, лицо, воплощавшее все страхи и кошмарные сны этой рыдающей женщины.

«Рррр» – жутко прорычал Летов, а потом заорал, как раненый капитан минут десять назад. В этот момент он вскинул автомат, вдавил курок и начал без остановки поливать свинцом двух невинных австрийцев. Их тела подпрыгивали от каждой пули, одежда заливалась кровью, они не могли даже издать крик, настолько быстро это произошло.

Всё...

На заваленном штукатуркой и обломками кирпичей полу лежали тела двух гражданских. Женщина в белой от известке одежде, и ее муж в черном плаще. Под их телами уже растекались огромные лужи крови, собирая в свою красную пелену кирпичную пыль с известкой. Ноги женщины были согнуты в предсмертной агонии, а лицо мужчины отражало невероятный страх и какую-то кричащую надежду на выживание. Где-то в глубине сознания Летова начинало восходить солнце: он отдаленно чувствовал, что сделал нечто ужасное. Рычание, однако, не прекращалось, руки все также сжимали автомат, лишь пелена с глаз начинала сходить и все четче проступали картины изуродованных выстрелами трупов и развороченных стен. О Боже, если бы кто видел Летова в этот момент: почерневшее от копоти лицо, по которому бегут ручейки крови, скорчилось в гримасу ужаса и ненависти, челюсть отошла вправо, зрачки уменьшились, глаза были настолько ужасающими, что даже самый матерый ССовец бы испугался. Ноги немного тряслись, тело нервно дергалось от частого дыхания.

Эту жуткую позу прервал какой-то шорох. Только Летов услышал падение камня и тихий крик, как ему сразу пришла животная команда: «Огонь, немец!».

² «Не надо», нем.

Резко развернувшись, не выпуская из рук автомат, и даже не посмотрев, даже не до конца развернувшись, он пустил очередь по дверному проему. Когда Летов развернулся, в дверях уже лежало маленькое тело в белой маечке, а по камням стекала кровь.

Вдруг Летов закричал, закричал диким от страха ором, попятился назад, запнулся за камень и упал в лужу крови. Ноги начали дрыгаться, руки трястись, изо рта летела слюна. Глаза теперь отражали ужас и страх. Его крик резал комнату, он ничего с собой не мог поделать – непонятный паралич нашел на него.

«Потом пришли те двое, что были в соседнем доме. Они все это увидели и вытащили меня на улицу, думая, что я ранен. Только потом, когда я уже в полубреду стал говорить, что убил их, они поняли, что застрелил этих троих я, а не немец. Приехал наш СМЕРШовец, который отвез меня в свою палатку. Там я во всем и сознался. Из-за моих наград, да и из-за того, что я сам не осознавал, что делал, мне дали небольшой срок – четыре с половиной года лагерей, с лишением всех званий и наград. Дело недолго разрабатывали, уже 19-го числа все было решено, и меня отправили в Канский лагерь вместе с другими военными преступниками, да пленными. Мы в одном эшелоне ехали – фрицы в одних вагонах, мы в других. Тварей много было. Хотя... я и сам тварь после такого. Ну вот отсидел срок, Родина то вроде простила мое преступление, но я сам себе его не простил. Я говорил это уже, но это осознание, оно со мной всегда, понимаешь? Сам не знаю почему, сам не знаю зачем убил невинных людей, да и ребенка еще... Они австрийцами потом оказались, а парню вообще семь лет было. Из дома не ушли, немцы их убить не успели. От немцев спаслись, а вот от такого выроodka, как я – нет. Тьфу ты, как ССовец был» – мрачно закончил Летов.

Горенштейн не знал, что ответить. Сказать, мол, ты не прав и не виноват? Нет, ибо это не так, да и Летов всегда ненавидел всякие оптимистичные фразочки, вроде «все будет», «верь и все получится». Поэтому заместитель начальника райотдела предпочел промолчать.

Летов согнулся. Его лицо упало на потертые руки, волосы закрывали шрамы на ладонях. Он изредка всхлипывал – было ясно, что Летов плакал. Так прошло секунд тридцать, пока горе-старлей не разогнулся, стер рукавом слезы и продолжил.

...Зеленый «Виллис» ехал по раздолбанной улице, объезжая кучи камней и трупы, подъезжая к сидящему Летову, который таращился то на заваленную камнями мостовую, то на свои черные руки. Мыслей не было, лишь жуткий страх и ужас рвали душу сидящего на камне и трясущегося Летова в окровавленной и запыленной офицерской форме.

«Виллис» остановился, оставляя большой след в пыли, и из него вылез майор СМЕРШ. Отдав честь, солдаты рассказали ему о случившемся и, придерживая Летова за плечи, усадили в машину, которая помчалась в сторону Особого отдела.

...Майор прогуливался по палатке. Небольшой стол в центре отбрасывал тень от тусклого света лампы, заместитель особиста сидел за столом, готовясь писать показания Летова, а майор, упав на стул, взял со стола личное дело старшего лейтенанта и, оглядев Летова, принялся пробежать дело глазами.

«Летов Сергей Владимирович... 1908, Новосибирск... о, сибиряк. Редко сейчас таких встречаю. Так, до войны лейтенант милиции, зам начальника райотдела... в РККА с июня 41-го, 24-я армия, Ельня, Вязьма... вышел из окружения осенью 1941-го... ранение, госпиталь с ноября 41-го до января 42-го... затем на Воронежском фронте... о, орден «Красной звезды», медаль «За отвагу», даже орден «Красного знамени» есть! Неплохой комплект. «Красной звезды» за что получил?» – пробормотал майор.

– За Иханталу – мрачно ответил Летов.

– Так-с. Воронеж, плен осенью 42-го, побег из плена. Лечился в Туле, ранение в руку и серьезнейшее нервное расстройство, вызванное сильной травмой... Нехило побило... В декабре 42-го прошел лейтенантские курсы. По окончании курсов в марте 1943 года переведен

на Ленинградский фронт, 23-я армия, участвовал в Выборгской операции... Это где вообще? С марта 1945-го в составе 9-й гвардейской армии... Большой путь прошли. Как же вы так?

-Я не знаю, тов... гражданин майор.

Майор лишь иронически улыбнулся, вспомнив, что Летов был ментом, и хорошо знает, как нужно обращаться к следователю. – А все же. Каков мотив?

-Я не осознавал, что делаю.

-Это как?

-Вероятно, помутнение рассудка. Я не спал трое суток, ел последний раз около суток назад, все это время вел бой. Я потерял девять своих бойцов у себя на глазах.

-Причем здесь трое граждан Австрии? Трое гражданских лиц.

-Не при чем. Я сам виноват в том, что убил их. Но я не понимаю для чего.

-Вы понимаете, что это бред? Совершить кровавое убийство, не зная почему. Я работаю в особом отделе два года и с такими «эксцессами» я еще не сталкивался.

–Понимаю, но объяснить случившееся тоже не могу.

...Допив и доев, старые друзья улеглись спать. Горенштейн заснул быстро, Летов же не спал практически никогда. Он вспомнил о том, как однажды ощутил удовлетворение от вида смерти, как наслаждался, смотря на умирающих людей, как в эти моменты он забывал о своей боли. Вспомнил, как наслаждался смертью других. Одного он не понимал: связано ли убийство австрийцев с этим чувством или нет? Конкретно в момент убийства он ничего не ощущал: вся его сущность, весь его разум, и вся его душа были окутаны непонятной пеленой; он словно был завернут в полиэтилен. Но вот после убийства, когда в камере он пытался понять, зачем застрелил несчастных людей, Летов вспоминал, какое наслаждение получал от вида трупов и крови, и часто думал, что убил их лишь для того, чтоб это наслаждение получить. Ясное дело, что следователям он этого не говорил, да и им не особо были интересны мотивы, но вот для себя... было весьма жутко думать о том, что ты убил невинных людей только для удовлетворения собственных потребностей, для умаления собственной боли. Но четкого ответа на вопрос: «а так ли это?» Летов так себе и не дал до сих пор.

Глава 4.

«Мне совсем не нужен рай в шалаше,

Мне не нужен, увы, и рай во дворце.

Там по разному кормят, но что за дело до тела,

Если некуда податься душе».

--А.Непомнящий

Дни текли медленно. Дожди постепенно вытеснялись наступавшей по всем фронтам зимой, иней уже покрывал все вокруг, а холод убивал сырость и красоту осеннего разноцветия, принося взамен ему изглоданные кости голых деревьев.

Вот и наступило 7 ноября. Огромная колонна демонстрантов шла по главной улице Первомайского района – улице Шоссе, которую спустя 12 лет переименуют в Первомайскую. Красные флаги покрывали центр района, веселые и радостные люди в разношерстной одежде шли вперед. Пальто, шинели без погон, телогрейки, короткие куртки с короткой же молнией, «Москвички»; галифе, брюки, какие-то широченные штаны, перешитые из галифе; сапоги, боты «прощай толстый живот», валенки, невысокие ботинки, валенки в калошах; шапки-ушанки, кубанки, кепки, фуражки без кокард и лент; огромное разнообразие одежды, укутывавшей жителей от холода, подобно мозаике с красными вкраплениями знамен и транспорантов, запеленала Первомайку. Повсюду слышались лозунги: «Великому Сталину слава», «Слава народу победителю» и «Слава Партии Ленина-Сталина», они же белыми линиями вырисовывались на длинющих транспорантах. Портреты Сталина, Ленина, Молотова, Ворошилова и Маркса, прикрепленные к длинным палкам, парадно шли над серым городом.

«Да здравствует вождь советского народа – великий Сталин!», «Да здравствует партия большевиков, партия Ленина-Сталина, закаленный в боях авангард советского народа, вдохновитель и организатор наших побед!», «Слава Великому октябрю!».

Двухэтажные бараки и каменные домишки коммуналок стояли рядом, взирая на колонну счастливых жителей Первомайки и приветствуя их своими избитыми временем глазами стен. Серое небо, казалось, покраснело от демонстрации. Ветер дул, раздувая флаги, трепал полы пальто людей, повсюду и везде разносились громкие отголоски песен, которые лились из огромных репродукторов на столбах.

«Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,

И Ленин великий нам путь озарил.

Нас вырастил Сталин – на верность народу

На труд и на подвиги нас вдохновил!» – кричало железное горло огромного репродуктора, одиноко торчащего на перекрестке улиц.

В 15:00 в Доме Культуры железнодорожников должен был состояться праздничный концерт, приуроченный к тридцать второй годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Песни и пляски, чтение стихов, выступление ораторов и всевозможная коммунистическая самодеятельность, которую только мог предложить молодой рабочий район. Горенштейн решил сходить на выступление, прихватив с собой Летова, который, не пылая особым энтузиазмом, согласился. ДКЖ располагался на той же улице, и Летов, дождавшись конца демонстрации, которая уже постепенно впихивалась на уходящую в бок улицу, пошел к нему. Радостные люди пробегали мимо, дети, женщины и девушки, мужчины и старики – все радостно шли под серым небом, немного выбеживая своей радостью Летова. Их улыбки вызывали у Летова ненависть, их безразличие к его невидимому горю – непонимание.

Огромное здание ДКЖ выделялось на общем фоне. Это огромное трехэтажное строение словно Большой Театр, которого Летов никогда не видел, давлело над частными домишками. Между кирпичными дорожками к нему лежала огромная клумба, вход представлял из себя массивное, будто отдельное, строение с шестью колоннами, между которыми были двери и большие окна. К колоннам были закреплены плакаты, восхваляющие Великую Октябрьскую социалистическую революцию и закрывающие несколько проходов на их верхнюю половину, в бока здания, словно штыки, были воткнуты красные флаги, колышущиеся на ветру. Желез-

нодорожники, работники стрелочного и паровозоремонтного завода, учителя, врачи, милиционеры, все шли в ДКЖ. Вместе с ними шел и Летов.

Пройдя коридоры, Летов с толпой ввалился в большой зал. Новенькая сцена, освещенная лампами, возвышалась над деревянными сиденьями, на которые усаживались зрители, создавая нестерпимый гул голосов, грохотдвигающихся рядов, топание ног. Около двери, на последнем ряду, вместе с грязными и усталыми работягами паровозоремонтного завода сел и Павлюшин. Его лицо отражало страх и непонимание: было ясно, что он не осознавал где находится и что происходит, а толпящиеся вокруг фигурки людей его лишь пугали. Старые зеленые галифе, заправленные в заляпанные сапоги, были уже очищены от крови Льдова, оставив на память лишь выделяющиеся своей беленой отдельные участки на выгоревшей ткани. Старая синяя рубаша сливалась с темным пиджаком, который был подобен Летовскому: такой же помятый, зачуханный, только на нем отсутствовала и вторая пуговица. Черная кепка неаккуратно была надета на растрепанные и слипшиеся волосы. Впрочем, Павлюшин не сильно менялся за последнее время – неряшливость и наплевательское отношение к себе и своему внешнему виду стали его неотъемлемой частью и били в глаза и ноздри любому, кто был рядом с ним.

Горенштейн сказал, что на спектакль придет со своей знакомой – некой Валентиной. Он про нее иногда говорил, но особо рассказывать не хотел, да и Летов не сильно интересовался – всевозможные события, хоть как-то связанные с счастливой жизнью, а не существованием, ему были неинтересны, а, порой, и омерзительны – когда в магазине он слышал разговоры покупателей о том, как кто-то женится, или как кто-то родил ребенка, то внутри боль превращалась в злобу и этот отравляющий поток бил в голову с невероятной силой. Да и к тому же, интерес к житейским вещам у него как-то пропал, притупился что ли. Впрочем, он был рад за друга – может хоть он выйдет из этой тьмы, в которую его, как и Летова, опустила война.

Летов уже сел на стул, как вдруг к нему подошел Горенштейн в мундире с кучей медалей и, вероятно, Валентина в строгом синем платье.

–Здравствуй – сказал, пожав руку Летову, Горенштейн. – Знакомься, это моя давняя подруга, прекрасная Валентина.

Милая женщина, лет 35-ти, с прекрасными блондинистыми волосами, собранным в пучок прикрытый сеточкой, с красивым бюстом, грациозной талией и невероятно стройными ножками, чья красота скрывалась под теплыми зеленоватыми чулками, подала свою милую ладонь Летову. Ее синее платье, подчеркивающее красивую фигуру, просто резало глаз своей красотой, а белый угловатый воротник, лежащий поверх большого закругленного синего воротника, будто бы блестел под томным светом ламп. Летов даже растерялся, засмотревшись на эту красотку, но пожал ее ладонь, своей серой, местами исцарапанной и избитой рукой.

«Бухгалтер паровозоремонтного завода Валентина Яковлева» – милым и приятным, словно льющим из радиоприемника голосом, сказала знакомая Вени.

–Летов... Сергей Владимирович – растерянно ответил бывший герой войны.

Горенштейн и Валентина сели рядом с Летовым. Он часто поглядывал на лицо Валентины: милый, немного острый носик, зеленые и блестящие, словно у влюбленной девочки глаза, тонкие губы, часто вздрагивающие, небольшой подбородок, тонкая, но невероятно прекрасная шея – вот такой казалась Летову эта девушка. Спустя столько лет пребывания в грязи и в обществе гнилых уродов, беседа, пусть и такая маленькая с этим прекрасным созданием была для Летова как глоток свежего воздуха. Он даже удивился себе – его что-то еще может радовать!

Вдруг свет погас и на сцену вышел председатель районного комитета Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) Первомайского района города Новосибирска.

«Товарищи! Тридцать два года назад армия восставших рабочих под руководством великого Владимира Ильича Ленина взяла логово имперщины, взяла логово буржуев – Зимний дворец! Петроград пал к ногам пролетариата и стал центром борьбы всего русского народа против буржуазии и самодержавия! Красная Гвардия, авангард рабочих и крестьян, громила

беляков, которые не хотели отдавать страну народной власти, Советской власти, не хотели терять возможность эксплуатировать и угнетать!» – громко и пафосно говорил председатель райкома. Летов на первых порах слушал его, но потом, само собой, перестал, погрузившись в свои мысли. Павлюшин так вообще сидел, уткнувшись взглядом в пол и слушал свои «голоса».

«Ты должен, ты единственный кто может это сделать, ибо ты велик, ты могущественен, ты выше этих жалких плебеев, ты выше их! Ты и только ты можешь очистить землю и спасти свою страну от толпы покалеченных выродков» – говорил ему «голос». Павлюшин дико смотрел на пол, иногда тряся, и совершенно не видел и не слышал ничего происходящего. Но потом он немного пришел в себя, выпрямился, и стал как-то потеряно глядеть на избитый головами людей зал и ораторов.

После речи председателя Райкома началось само представление. Сначала проиграл «Интернационал», а потом началось и чтение революционных стихотворений.

Сначала парень из 9-го класса местной школы прочел «Наш марш» Маяковского. Все громко аплодировали, ожидая следующего чтеца.

«А теперь стихотворение Владимира Маяковского «Левый марш» прочтет ученик 9 «В» класса школы №128 Борис Ловин» – громко объявил ведущий.

На сцену вышел парень, которому было 15 лет, но выглядел он на все двадцать! Перешитые из новехоньких отцовских галифе брюки были ему к лицу, видимо, тоже отцовский пиджак довоенного пошива, был ему немного великоват, но с последних рядов это было совершенно незаметно. Под пиджаком была парадная белая рубаша с большим смятым воротом, короткие пепельные волосы, недавно постриженные полубоксом, красиво покрывали голову. Было явно: парень долго готовился к этому выступлению и сильно волновался, даже ноги немного дрожали. Поборов страх, парень вышел на сцену, встал у самого ее края и, кашлянув один раз, принялся громко рассказывать.

«Разворачивайтесь в марше!

Словесной не место кляузе.

Тише, ораторы!

Ваше

слово,

товарищ маузер

Левой» – громко читал парень. Голос изредка вздрагивал, набирая воздух, колени не переставали трястись, зато мощные руки размахивали по сцене. Стоит сказать, что читал он неплохо, с нужным для такого произведения пафосом и торжественностью, но его волнение немного сбавляло серьезность самого прочтения.

«Довольно жить законом,

данным Адамом и Евой.

Клячу истории загоним» – в этот момент его голос окончательно сломался, затих и стал каким-то хриплым, из глаз брызнули слезы, вздрогнув на свету, а ноги постепенно подкашивались.

Слово «Левой» он уже не мог выговорить, ибо начал задыхаться. Из его рта полетела какая-то белая пена, он схватился руками за горло и упал на сцену, бясь в жутких конвуль-

сиях. Ведущий и вбежавший на сцену председатель райкома, упав на колени у чтеца, принялись трясти парня, но тот лишь задыхался и говорил что-то невнятное. Горенштейн, звеня медалями, также побежал на сцену.

Павлюшин же вместе со всеми поднялся и стал глядеть на трясущегося «любителя Маяковского». Его лицо застыло в улыбке сумасшедшего, глаза с диким, первобытным наслаждением смотрели на эту жуткую сцену, когда парень будто пытался прорыть ногами в чистых ботинках дыру в деревянной сцене. Павлюшин трясся, неимоверно потел, прилипшие волосы изполосали лоб своими треугольниками. Улыбка и взгляд становились все более дикими. Он испытывал страшное, неописуемое наслаждение от мучений этого парня, продолжавшего задыхаться и испускать на рубаху пену.

Парню в рот залили воды, побили по лицу и он, наконец, начал дышать. Сначала он долго и жадно заглатывал воздух, потом, наконец, пришло облегчение, и парень уже мог говорить.

«П...простите, умоляю простите» – постоянно бормотал он. Подняв чтеца на ноги его увели за кулисы, дабы окончательно привести в чувство и успокоить.

Зрители же тоже начали постепенно успокаиваться, но женщины до сих пор бурно обсуждали, что же произошло с несчастным. Севший на место Горенштейн, стирая с рук слюну задыхавшегося, сказал, что парень просто сильно волновался, и видно нервы горла сжались, или что-то в этом роде. Валентина успокоилась, а Летов, не так уж сильно и переживавший, сел на место. Павлюшин же долго стоял смотря на сцену, даже после того, как уселись почти все: перед его пустыми глазами до сих пор стоял задыхавшейся парень, бьющийся в конвульсиях. И именно в этот момент просветления не пришло, рассудок навсегда впал в полное безумие, «покой» которого уже никогда не будет нарушен разумом.

...Люди расходились с представления. Все только и делали что обсуждали то происшествие с чтецом, которого увезли в больницу, хотя его здоровью уже ничего не угрожало: спазм горла прошел.

Летов, Горенштейн и Валентина шли по улице. Ветер сильно дул, разнося по грязной дороге мусор, преимущественно, намокшую упаковочную бумагу. Вокруг же, словно коршуны, носились рассказы о «задыхающемся парнишке». Вот так праздник Седьмого ноября и подал сплетню для всей Первомайки.

«А вы где-то работаете?» – спросила Валентина у Летова.

-Пока что нет. – мрачно ответил он. – Думаю, что скоро устроюсь. Просто в город недавно прибыл.

-Откуда?

-Валюша, ты лучше скажи, как прошла демонстрация в Центральном районе – резко сменил тему Горенштейн, дико посмотрев на Летова, силой взгляда запрещаая ему говорить правду.

Валентина была немного удивлена столь резкой сменой темы, но все же немного сказала и о демонстрации, удовлетворяя просьбу любимого Вени. Летов лишь кивнул Горенштейну в знак благодарности, ибо совсем не хотел отвечать на этот вопрос.

Потом они разошлись. Горенштейн пошел к Валентине домой, а Летов в комнату Горенштейна (теперь, по сути, и свою). Он шел, усмехнувшись о Горенштейне: мол, такую прекрасную женщину имеет, а мне ничего не сказал! Впрочем, зачем ему это говорить? Это его личное дело. Но где граница личного? Где она? Сколько всего личного, того, что никто не хочет знать, волею случая или судьбы оказываются общеизвестными. Сколько от этого было бед, сколько людей стали несчастными от этого! Настигала ли эта участь Летова? Да более чем, даже в госпитале, когда все прознали про диагноз Летова, принялись обсуждать его «головушку», или

же в довоенные времена такое тоже бывало... Впрочем, к чему их вспоминать? Летов решил повернуть этот «поток сознания» в другое русло.

Горенштейн же провел эту ночь с Валентиной. Они танцевали, обнимались, пили портвейн, в общем делали все, что делают влюбленные люди. Летов же лежал на кровати и курил всю ночь, размышляя о том, как дошел до жизни такой, и постоянно осуждая себя за содеянное, в общем делая все, что делают несчастные люди. Несколько раз за эту жуткую ночь в одиночестве у него случались припадки: он начинал кричать, кататься по полу, или стучаться головой о холодные доски. Изредка он засыпал, минут на пятнадцать, но жуткие кошмары, терзающие сон, заставляли Летова просыпаться. Уже раз в пятый Летову приснилось как тот мальчик, которого он застрелил в Австрии, превратился в огромного силача и стал бить своего убийцу, а потом окунул в ведро с кровью, и Летов захлебнулся в ней. Каждый раз он с криком вскакивал с кровати, вытирая пот с лица и вновь падал на подушку, издавая протяжный стон. Обычно Летов просыпался от кошмаров раза два за ночь, но эта ночь выдалась какой-то жуткой – то ли от мыслей, которые постоянно лились в его голову, вызывая жуткие воспоминания, то ли от случившегося в ДКЖ.

Павлюшин же, вытирая пот, и страшно улыбаясь, зашел в свой барак, запер дверь и упал на кровать. Он трясся от экстаза, а в голове вертелась лишь одна мысль: убить! «Голоса» невыносимо орали: «Убей, убей!», руки тряслись, а его психика разрушилась окончательно. Сцена убийства жены, Льдова и сцена с задыхающимся чтецом – все это каким-то жутким парадом смерти проносилось перед глазами, вызывая неимоверный зуд к убийству. Этот зуд был страшным. Словно ребенок, несмотря на все запреты родителей, ест что-то с пола, так и Павлюшин, несмотря на какое-то непонятное сдерживающее чувство, которое становилось слабее с каждой секундой, все равно тянулся к топору и хотел пойти убивать.

Странно, но с этого дня фраза «Левой, левой, левой» из стихотворения Маяковского стала для Павлюшина чем-то прекрасным, словно предвестником неимоверного наслаждения, своеобразным знаком экстаза. Она стала для него священной. Стала она таковой по простой причине: когда парень начал задыхаться он говорил именно ее, сцена же с умирающим чтецом доставила Павлюшину такое удовольствие, что с того дня фраза «Левой, левой, левой!» стала символом тех минут, в которые он получил уже забытое наслаждение.

Утром Павлюшин пошел в библиотеку имени Чернышевского. Идти до нее было минут двадцать, но для него это не было преградой: он знал, что там лежит самая важная для него книга. «Москвичка» его была застегнута на все разбухшие от воды пуговицы, козырек кепки поднимался от ветра, она каждый раз была на волосок от того, что ее сдует ветер, и она плюхнет на грязную землю, но ее потерявший рассудок хозяин постоянно натягивал кепку обратно на голову.

В библиотеке было довольно пусто. Стоящие рядом друг с другом ряды книг тянулись к окну, к ним были приделаны самодельные таблички с буквами фамилий писателей. Около библиотекаря уже стояла молодая девушка в платье, которая получала какую-то стопку книг по механике. Павлюшин быстро подошел к ряду с буквой «М», сразу увидев стоящие рядом друг с другом красно-коричневые томики собраний сочинений Маяковского, принявшись стал листать каждый.

«Ага, вот он» – бормотал Павлюшин, видя название «Левый марш». Каждую книгу, в которой было это стихотворение, он откладывал в сторону, и в итоге таких набралось аж четыре штуки! Спрятав две книжки под пальто, а две, которые были поменьше, в карманы галифе, Павлюшин, застегивая пуговицы «Москвички», быстро зашагал к выходу, а на вопрос библиотекаря: «Не нашли нужную книгу?», мрачно буркнул: «Да».

На улице появилось солнце. Но Павлюшину было все равно: он шел в предвкушении встречи с прекрасным. Уже в бараке он, кинув на стол две украденные книги, загляделся на освещенную утренним светом обложку с красным профилем Маяковского. Павлюшин схватил

старые, местами поржавевшие ножницы, открыл страницу с «Левым маршем» и с диким лицом начал вырезать оттуда столь важное для него четверостишие. Минуты через три на грязном столе уже лежали шестнадцать обрезков бумаги с так важной для него фразой «Левой, левой!»

...Тем временем Горенштейн проснулся в семь утра. Аккуратно поднявшись с постели, чтобы не разбудить Валентину, он натянул свои синие галифе вместе с немного запачкавшимися сапогами, взял мундир, придерживая награды, чтоб не звенели, и на цыпочках подошел к самой двери. Люди уже сидели на кухне, обедали, кто-то пошел на завод, кто-то только проснулся. Горенштейн, стоя у самой двери, застегнул мундир все также держа готовые в любой момент зазвенеть медали в ладони, надел шинель с шарфом, еще раз поглядел на свою прекрасную знакомую, и надев с веселым лицом фуражку, пошел к выходу. Путь от дома Валентины до коммуналки Горенштейна был не близкий, но быстрым шагом его можно было преодолеть минут за двадцать пять. Пройдя грязные улочки частного сектора, такие же грязные, но с более культурными домами центральные улицы, Горенштейн, наконец, дошел до своей любимой Таловой.

Летов же очнулся в пять утра после очередного кошмара и решил больше даже не пытаться заснуть. Он то бродил по комнате, то отжимался, то прыгал на месте – делал все, чтобы не спать и не видеть этих кошмаров. Последним, что ему приснилось вновь было воспоминание. Странно, ему иногда снились кошмары с какими-то монстрами или что-то в этом роде, иногда ему даже чудились летающие ящеры с красными зубами, причем такого рода кошмары только учащались, но самыми жуткими для него были сны, где воспроизводились какие-то сцены из реальной жизни. Обычно ему снилось то, что случилось в Вене, но иногда и сцены плена или тот ужасный момент, когда убили Леху. В последнее время Летов старался не вспоминать своего друга, но воспоминания довоенных лет, как они вместе с ним ловили бандюков или выпивали в кабаке, находили все чаще – ностальгическая обстановка Первомайки этому только способствовала.

Вот и сейчас, когда Летов отжимался, вдруг у него перед глазами встал момент, где Леха дрыгается на земле, кряхтя и захлебываясь кровью, а из его артерии фонтаном льется кровь, с такой силой, что ее струи иногда поднимались ввысь на полметра. Вот Летов отжался двадцатый раз и вдруг ему словно в лицо брызнула кровь Лехи: он отскочил, врезался в стену, схватился за волосы и рухнул на пол. Почему иногда воспоминания вызывали у него такие припадки? Он пытался разобраться в себе, но не мог, ибо наткнулся на закрытые двери закрытых его мозга, которые он никак не мог открыть, будто они заперты на замки без ключей, а приклада, способного вышибить любую дверь, под рукой нет. Летов просто не мог попасть в какие-то участки своего сознания, чтобы понять, что не так, в чем причина этого непонятного порока организма?

Когда Горенштейн вошел в свою комнату, расталкивая проснувшихся соседей, Летов сидел на полу, схватившись за голову, и молчал. Горенштейн похлопал его по плечу, после чего Летов резко, неожиданно и странно вскочил, словно постовой, уснувший на посту вскакивает перед командиром.

«Ты чего на полу?» – удивленно спросил Горенштейн, снимая шинель.

– Не спалось что-то – потирая глаза ответил Летов.

Горенштейн прекрасно смотрелся в этом парадном мундире. Синий китель с двумя линиями больших золотых пуговиц, с красным кантом по воротнику и борту. Воротник стоячий, как в имперские времена, на нем металлические планки на красных петлицах, на рукавах такие же. Золотые погоны с четырьмя золотыми же звездочками будто жали руку восходящему солнцу, раскидывая по комнате блики, китель был перетянут блестящим коричневым ремнем, с такой же блестящей портупеей, а синие галифе были заправлены в начищенные сапоги. На голове красовалась синяя фуражка с красным ободком и блестящим в унисон с ремнем и портупеей

козырьком, на ней же красовалась недавно введенная кокарда милиции: овальная, золотая, с гербом СССР в центре. Такая парадная форма очень шла капитану Горенштейну: даже Летов, кажется, забывший, что такое красота, поразился.

Среди уже знакомых Летову орденов «Красной звезды» и медалей «За отвагу», висящих на самом видном месте мундира Горенштейна, Летов увидел три новые медали: «За взятие Вены», «За взятие Берлина» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». По лицу Летова прошла мрачная усмешка. Он понял, что этими наградами мог быть награжден сам, мог вместе с Горенштейном освобождать Берлин и видеть Красное знамя над Рейхстагом. Если бы не один случай, причину которого он сам не мог объяснить. Или просто не хотел...

– Ты до Берлина дошел? – сонно пробормотал Летов, продолжая сидеть на полу, прижавшись к стене.

– Я ж рассказывал, что дошел – весело ответил Горенштейн, разглядывая свою предпоследнюю боевую награду. – Много о тебе думал. Помню, как нам передали о капитуляции фрицев: я никогда не был настолько счастливым и больше никогда не видел настолько счастливых людей как тогда!

– Я 9 мая был в Красноярске уже, недалеко от лагеря. Нам на вокзале объявили о капитуляции, так все на улице стали кепки в воздух кидать, кричать. В вагонах такой гул поднялся: кричали про Победу, обнимались, плакали, немцев материли... В соседних вагонах пленные ехали, так они молчали, не рыпались даже. Помню, как суровые конвоиры не скрывали слез, да и я, признаться, тоже слезу от счастья пустил.

Горенштейн, улыбаясь рассказам Летова, снял свой парадный мундир, одел покрашенные в серый цвет военные галифе, свою изумрудного цвета плотную рубашу с угловатым воротником, теплую кепку, которая практически была копией летовской, напялил пальто и, попрощавшись с соседом по комнате, пошел в райотдел.

В отделении ему всунули готовый отчет судмедэксперта о трупе на ж/д путях, а у входа в кабинет стоял ефрейтор Скрябин, держа в руках какой-то документ с серой обложкой.

«Вам просили передать паспорт Летова» – сказал ефрейтор, отдавая Горенштейну сероватую книжечку. Новенькая, не помятая серая обложка, с гербом СССР в правом верхнем углу и с надписями «Паспорт» на восьми языках! Внутри все было еще красившее: в верхнем левом углу такой же герб СССР, надпись «паспорт» поверх обеих страниц, фотокарточка Летова с его мрачной рожей и написанные красивым почерком данные. Все портила надпись на второй странице: «Выдан на основании ст. 38 (39) «Положения о паспортах». Эта приписка значила, что Летов недавно вышел с мест лишения свободы.

...Павлюшин шел по улице. Ветер обдавал его лицо, ноги давили грязь, а рука сильно прижималась к телу, вдавливая ткань пальто. Лицо его было как обычно потерянно-мрачным, со стеклянным льдом потерянных глаз. Он шел, осознавая куда, он шел, чувствуя близость наслаждения, которого так ждал.

Вот и он: частный домик на отшибе. Забор, как и у большинства таких домов, покоился, образуя какой-то неравномерный угол с неровной землей, побелевшей от инея. В окнах горел свет: эту часть района уже электрифицировали, поэтому от новенького деревянного столба, изтыканного толстенными металлическими гвоздями, заменявшими ступеньки, к этому частному домику отходил свисающий провод. Павлюшин открыл калитку, улыбнулся, поднялся к двери и однотонно постучался в нее.

«Кто там, твое мать?» – послышался из-за двери злой и пьяный голос жильца.

– Вась, ты забыл на заводе шапку!

– Б...ь, так вот где она!

Дверь распахнулась. На пороге стоял мужчина, ростом чуть ниже Павлюшина, с испи-
санным грубыми шрамами и глубокими морщинами лицом, которое украшали пышные седые
усы. Нагота была скрыта заштопанным белым нижнем бельем, местами запачканном какой-
то едой.

Павлюшин зашел в одноэтажный частный домик, закрыв дверь.

-Ну где шапка то? – злобно вопрошал усатый коллега Павлюшина.

-Вот – мрачным голосом и не меняя «стеклянности» в глазах ответил Павлюшин, протя-
гивая старую шапку-ушанку мужчине. – Водчонки нальешь?

Мужчина усмехнулся, кинул шапку на кровать и направился к столу, где стояла бутылка
водки. Павлюшин же достал из пальто топор, замахнулся и со всей силы ударил по шее счаст-
ливому обладателю украденной пару часов назад шапки. Его лицо было лицом волка, рвущего
плоть своей жертвы, его глаза перестали быть стеклянными: в них загорелось пламя насла-
ждения и дикости. Усач закатил глаза, пустил порцию блестящей крови изо рта, и рухнул на
ледяной пол, согревая его своей кровью. Павлюшин же, издавая то стоны, то рев, то вообще
непонятные звуки начал с озверением бить мужчину топором по затылку, шее, спине. Кровь
брызгала повсюду, заливая пол и Павлюшина, скатерть и стол, постель и стены, висающие на
спинке кровати галифе и телогрейку; рука Павлюшина и топор уже стали красными, едиными,
сросшимися. Так прошло несколько минут: Павлюшин не считал количество ударов, продол-
жая рубить со всей силы мертвое тело и визжать как свинья. Но издевательство на этом не
закончилось: Павлюшин поднял за волосы голову изуродованного трупа, подложив под нее
какую-то бумажку. Следом за этим, Павлюшин положил левую руку жертвы на пол, замахнулся
топором и со все силы отсек левую кисть, которую вскоре бросил в извлеченную из кармана
пальто стеклянную банку с покрасневшей от крови прозрачной жидкостью. Убийство и даль-
нейший «ритуал» длился всего минут пять, после чего счастливый Павлюшин спокойно под-
нялся, вытер кровь с топора принесенной с собой тряпочкой, спрятал его под пальто, еще раз
оглядел окровавленный труп и растекающуюся кровь, дико улыбнулся и повернул фарфоро-
вую ручку фарфорового же выключателя, выключив свет в этом домике. Улица встретила его
холодным ветром и темнотой, которая будто обожгла привыкшие к яркому свету глаза. Он
получил настолько сильное наслаждение что, казалось, температура его взлетела до 38-ми гра-
дусов, а душа склеилась из несчастных кусков в единое счастливое тело.

...Время было около шести утра. Минут двадцать назад прошумел утренний поезд, еду-
щий от Новосибирска, встревожив уличных голубей и другую живность просыпающейся Пер-
вомайки. Горенштейн спал, наслаждаясь снами о Валентине – она завладела его мозгом, она
стала для него всем, задавив ту боль, которая, казалось, изничтожила его несколько лет назад.
Разбудил же и прервал эти блаженные сны стук в дверь. Летов, после обмывания нового пас-
порта с Горенштейном, спал пьяным сном и даже не проснулся, а Горенштейн сразу вскочил
со своей койки. У порога стоял Скрябин в мокрой от утренней мороси шинели.

«На физкультурной жуткое убийство, жена приехала на утреннем, нашла труп» – шепо-
том проговорил Скрябин. Горенштейн лишь кивнул, быстро одел свое штатское тряпье и
пошел за Скрябиным в синюю «Победу». До места преступления они доехали быстро – благо
Физкультурная была рядом. Дом уже был оцеплен постовыми, у порога стоял судмедэксперт
Кирвес со своим саквояжем изумрудного цвета и фотограф Юлов, в ожидании приезда капи-
тана. На ступеньках же сидела и редела женщина средних лет в черном пальто, в грязи стоял ее
старый чемодан, про который она уже и думать забыла. Горенштейн больше всего ненавидел в
своей работе успокаивать родственников убитых: он это совершенно не умел делать. Попытки
сказать, мол, у меня семью убили ни к чему не приводили, видимо, голос у Горенштейна был
какой-то не подходящий для таких моментов. Обычно он сваливал это жуткое занятие на плечи

Кирвеса, у которого получалось в разы лучше. «Врождение чувство сострадание» – шутил про свою необычную способность судмедэксперт.

Яспер Кирвес был эстонцем, но вот уже девять лет жил в Новосибирске. Как только Эстония вошла в состав СССР в 1940 году, он перевелся из Кохтла-Ярве в РСФСР, а единственным в те годы вариантом для должности криминалиста был Новосибирск. Сначала он работал в Железнодорожном районе, но уже в 42-м его перевели в Первомайку. Кирвеса все полюбили: он был хорошим человеком и со всеми сумел найти общий язык, несмотря даже на свой эстонский акцент. Никого не оскорблял, ни с кем не ссорился, мирно и спокойно жил, переписываясь со своей дочерью в Таллинне. Кирвес выглядел как обычный эстонец пожилых лет: овальное бело-розовое лицо с частыми складками, пугающее своей бледностью многих, круглые очки в черной оправе, уже почти полностью поседевшие волосы, которые Горенштейн помнил еще умирающе-блондинистыми, зеленые, глубоко посаженные и немного узковатые глаза, торчащие в стороны уши, придающие ему комичности, как картавость Горенштейну, и тонкие розовые губы, изрытые трещинами. Роста он был сравнительно небольшого: чуть больше 160-ти сантиметров, а говорил с сильным акцентом: очень медленно, смягчая согласные звуки, особенно буквы «Л», «М» и «Н», но самым заметным и удивляющим всех было то, что он сильно растягивал гласные звуки. Иногда даже его движения были медленными, но в нужный момент он делал все быстро и энергично.

Горенштейн с ефрейтором направились к лестнице. Женщина сильно плакала, сжимая глаза руками, Кирвес пытался ее успокоить, но, видимо даже его способности не помогали в этой ситуации. Женщине было лет пятьдесят, она была в грязных чулках, старых ботиночках, длинной, кое-где заштопанной юбке и таком же длинном, еще старого пошива, пальто. Ее немного седые волосы выглядывали из под берета, заплаканное лицо было закрыто пожилыми ладонями, покрывшимися краснотой от холодного и сырого утра. Горенштейн изредка замечал черты ее лица: кругловатый нос, пышные брови и лицо с морщинами.

Постовой у входа отдал честь, открыв дверь. На улице было темно, поэтому сенки были окутаны мраком, и Горенштейн, пару раз ударившись обо что-то звенящее, кое как доплелся до тяжелой двери в комнату и, нащупав фарфоровый выключатель, повернул его, продрав темноту комнаты светом лампы. И тут пред ними предстала жуткая картина. Жена убитого, выглядывая из-за спины Юлова завывала, упала на колени и начала реветь с новой силой, оглушая всех всхлипываниями и воем. По середине комнаты недалеко от стола на животе лежал труп. Вокруг него была огромная лужа свернувшейся крови, левая рука была отставлена в сторону, а кисть отсутствовала. Кирвес произнес что-то по-эстонски, ефрейтор начал смотреть в пол, а Горенштейн покачал головой.

«Приступаем» – сказал он. Кирвес направился к телу, Юлов взвел фотоаппарат, а Горенштейн позвал постового и приказал: «Отогнать людей и прочесать местность: ищите человеческую кисть, она отсутствует. В доме я сам поищу, а на улице это ваша задача».

Постовые отогнали небольшую толпу людей у покосившегося забора, но они все равно не уходили, а лишь отошли подальше. Были слышны крики: «Тут запрещено находится, отошли!», возмущения каких-то старушек, и даже хлюпанье грязи под ногами. Потом постовые пошли по улице, заглядывая на участки людей, обыскивая заросли засохшей травы около заборов, осматривая даже лужи. Горенштейн же стал обыскивать это скудное жилище. Заглянул под старую кровать, аккуратно перебуровил одежду в голубоватом шкафчике, заглянул в умывальник, аккуратно перешагнув лужу крови, посмотрел на столе и под столом, на подоконнике, даже посветил зеленым немецким фонариком «Daimon» в щель между досками пола, но ничего найдено не было.

Постовые, придя минут через тридцать, также сказали, что ничего не обнаружили. Кирвес окончил осмотр трупа и мрачно-медленным голосом сказал: «Мужчина, примерно пятидесяти лет, убит около часа ночи. Преступник нанес ему примерно тридцать ударов тупым пред-

метом, кажется, топором. Удары глубокие, бил он очень сильно. Левую кисть ему отрубили, но самая странность у него под головой. Посмотри, Вень».

Кирвес аккуратно поднял голову жертвы и Горенштейн увидел под ней небольшой клочок бумаги, на котором были напечатаны три строчки: «Левой,

Левой,

Левой!»

–Твое мать, что это за идиотизм? – зло спросил Горенштейн. – Я понимаю, кисть он мог отрубить чтоб запугать нас, грабители сейчас совсем оборзели. Но что значит это?

Все промолчали. Горенштейн еще раз осмотрел дом: на первый взгляд, ничего не пропало. В это же время ввели женщину: она успокоилась и могла говорить, хоть и заикаясь. Допрашивать ее решили на улице, чтобы не было видно трупа. Ефрейтор достал протокол, химический карандаш, положил лист на полевую сумку и начал записывать.

«Скажите, как звали вашего мужа?» – добрым голосом начал Горенштейн.

-В...Василий Павлович Дроздов – еле сдерживая слезы сказал женщина

-Он где-то работал?

-Да. Слесарем на паровозоремонтном заводе, вот уже четвертый год.

-Вы с ним давно женаты?

-Двадцать лет уж как.

-Сколько ему лет?

-53 года исполнилось, три дня назад.

После этого женщина опять заревела, но вскоре успокоилась, понимая, что ее ответы могут помочь поймать убийцу.

–Как вас зовут? – продолжил Горенштейн.

-Ирина Романовна Д...Дроздова.

-Ирина, у Василия были какие-то враги, ему угрожал кто-нибудь?

-Нет, нет! он был добродушный человек, друзья были, собутыльники, но врагов нет, нема.

-Когда и куда вы уехали?

-Вчера утром, к маме в город – ей плохо стало.

-У вас билет сохранился?

-Да, сейчас достану.

Ирина достала из кармана помятый билет. И вправду, поезд до Новосибирска главного, 8 ноября... Значит она точно отпадает, да и она чисто физически не могла нанести такие удары.

Горенштейн продолжил: «Вы вернулись утренним поездом и нашли труп мужа. Во сколько это было, примерно?»

-В 06:30. Я еще удивилась, почему он меня не встретил...

-У вас в доме ценное было что-нибудь?

-Да нет, что вы! Только деньги с получки, так там немного... Больше ничего и не было, кольцо я на руке ношу.

-Вы можете сейчас посмотреть, не пропало ли чего из квартиры?

-Я попробую...

Кирвес, уже по знакомой схеме, встал у трупа так, чтобы его не было видно. Ирина начала все оглядывать, впрочем, комната была небольшая и этот осмотр заплаканными глазами длился сравнительно недолго.

«Нет, ничего не пропало» – заключила жена убитого.

-Вы уверены?

-Полностью уверена.

Ирину вывели на улицу. Горенштейн прижался к стене и начал «группировку фактов», как он это называл.

«Итак. Жена приезжает в город утренним, находит труп мужа. Из дома ничего не украдено, да и кто бы пошел грабить такой дом: он выглядит бедно, даже забор покосился! Мужика убили с жестокостью, столько ударов и такой силы. Кисть он либо с собой забрал, либо выкинул где-то далеко. Скорее всего, второе, потому что зачерта ему отрубленная кисть этого мужика?! Я думаю было так: он пришел в час ночи под каким-то предлогом, рубанул, решил нас запугать, отрубив кисть. Забрал с собой, и выкинул где-то очень далеко, может сжег вообще. Это четверостишие что-то значит, это явно как-то связано с убитым, явно! Кирвес, заканчивай осмотр, а ты фотографируй уже, пора увозить его на вскрытие» – сказал Горенштейн, застегивая ворот рубашки.

Горенштейн продумал несколько вариантов дальнейших действий. Было ясно, что преступник убивал не для кражи и не из-за корыстных побуждений. Значит, либо месть, либо ревность. Жене он про врагов не рассказывал, а может и сам не знал. Надо спросить у Ирины, когда она окончательно в себя придет, не было ли у нее поклонников каких-то (хотя с ее внешностью и возрастом уже вряд ли), узнать имена друзей и собутыльников убитого, сходить на завод, опросить их и выяснить. Ясно, что убийца знал убитого, и убивал его не просто так.

Размышления Горенштейна прервала вспышка пакета с магнием. Юлов сделал первый кадр своим стареньким «Фотокором №1», держа в одной руке сам фотоаппарат, а в другой железную конструкцию, которая воспламеняла магний и заменяла вспышку.

Трое понятых – два каких-то деда и их внук, работающий в ночную смену – поставили подписи под протоколами, труп обвели мелом и увезли, дом закрыли на замок, выставив караул. Потом вытолкнули из грязи застрявшую «Труповозку», сели по машинам и поехали в отделение. Горенштейн, да и Кирвес с Юловым, были мрачными донельзя – после такой то сцены. Особенно Кирвес – он, как и обычно раньше, большую часть времени успокаивал рыдающую жену покойного. День выдался не очень: с самого утра шла какая-то морось, везде была грязь, небо было серым, словно попадая в такт с настроением наших героев.

Глава 5.

«Жизнь моя как ветер

Кто там меня встретит

На пути домой

Ой, не стой надо мной

Я пока ещё живой».

--Песня из сериала «Баязет».

...Павлюшин лежал на кровати. Его ладонь утопала в пыли, а лицо дергалось в нервных тиках; запекшаяся кровь на одежде сливалась с грязной простыней. Так, наслаждаясь воспоминаниями о содеянном, он пролежал несколько часов, пока боль вновь не пальнула по его голове: он скатился на пол, издавая жуткий крик. На этот раз ему повезло, ибо боль прошла быстро, после чего Павлюшин схватил вырезанные четверостишья, вылил в глотку очередную порцию водки и долго-долго глядел на заветные три строчки, которые были для него уже подобием наркотика. Свалившись на койку Павлюшин принялся с блаженством вспоминать содеянное, пока к нему в окно постучал дворник с завода, крикнув: «Мудак, иди на завод, надо отвезти какое-то дерьмо на свалку».

Горе-дворник не сразу поднялся. Он пролежал еще с минуту, игнорируя крики коллеги, потом встал, скинул окровавленный фартук с перчатками, напялил телогрейку и вышел на холодную улицу. Дворник уже уехал, так что никто не мешал Павлюшину плестись по холодной улице, пуская слезы от врезающихся в глаза капель моросящего дождя и вспоминать то ужасное действие, которое доставляло ему так много удовольствия.

...Кирвес с ефрейтором вышли из кабинета. Горенштейн попросил их узнать фамилии друзей убитого, а сам пошел в туалет, что был на втором этаже. К нему вернулась головная боль и тряска рук – вероятно, этот ужас изуродованного тела сильно на него подействовал. Горенштейн умылся, помотал головой, достал из сапога маленький флакончик с водкой и выпил ее залпом, сразу, с невероятной жадностью, будто там было какое-то мгновенно действующее лекарство. Флакончик он оставил, а себя побрызгал старым тройным одеколоном, чтоб заглушить запах водки. У двери кабинета уже стояли помощники Горенштейна с клочком бумаги, на котором размашистым почерком ефрейтора были написаны фамилии. Все они работали в третьем цехе паровозоремонтного завода вместе с убитым.

Вскоре машина уже ехала по размытой дороге к воротам завода. Хлюпанье грязи под колесами смешивалось с жутким шумом, вырывающемся из-за забора этого рабочего мира, и матом сидящих на каких-то бочках работяг, курящих самокрутки.

Сначала опера поехали в небольшое деревянное здание, в котором размещалось руководство завода. Директор поприветствовал «товарищей из органов», объяснил, как пройти к третьему цеху и проводил их до самого выхода из здания, выйдя в одном пиджаке на холод ноябрьского утра. По деревянным мостикам, намокшим от вчерашнего дождя, милиционеры дошли до новенького здания внутри которого ревели болгарки и блестели искры. Собрав всех друзей убитого у небольшой деревянной конструкции, утонувшей в грязи, Горенштейн начал разговор.

«Капитан милиции Горенштейн. Оторвитесь на минутку, мы с вами хотим побеседовать о вашем коллеге» – мрачно протараторил он рабочим.

Перед милиционерами встали трое уставших рабочих, черных от копоти и укутанных в рваную телогрейку – двое были возраста Дроздова, даже внешне напоминали его изрытое морщинами лицо, а третий был гораздо моложе, лет тридцати. Молодой имел прекрасные голу-

бые глаза и, кажется, блондинистые волосы, у второго были абсолютно черные руки, а третий мрачно стоял в стороне, особо не смотря на милиционеров.

«Что вы можете рассказать о товарище Дроздове?» – спросил Горенштейн.

Работяга с черными руками и в защитном обмундировании сварщика почесал свои маслянистые волосы, причмокнул губами и, уставившись в небо, ответил: «Ну что, мужик хороший, скидывается, правда, редко, но работает хорошо. Жена у него страшная, не то что моя. Короче, обычный мужик, что сказать то».

-У него враги были какие-нибудь?

-Да какие у него к черту враги – вмешался молодой сварщик – у него ни шиша не было. Что с него взять то?

-И что, никаких недоброжелателей?

-Да откуда бл... – продолжил работяга с черными руками – кому он нужен?

-А на жену его никто не претендовал?

Этот вопрос заставил троих рабочих засмеяться уморительным смехом. Молодой сварщик, утирая черные от копоти слезы такими же черными руками, оставляя на лице черные полосы мокрой копоти и продолжая усмехаться, ответил: «Да кому она нужна, она ж страшная как бегемот!»

Горенштейн кивнул, и тут успокоившийся раньше всех мрачный сварщик спросил: «А что с ним случилось? Посадили?».

-Убили – коротко и мрачно сказал Кирвес.

Горенштейн попрощался с рабочими, заметно ужаснувшимися, поблагодарил их за ответы, попросил расписаться в бланке и пошел из этого грома и пыли на улицу, где сквозь жуткие тучи прорывалось бессмысленное солнце, не греющее никого и ничего.

...Вернувшись в отделение, капитан бросил сумку на свой стол и поднялся на второй этаж, где располагался кабинет начальника районного отделения милиции по Первомайскому району Леонида Львовича Ошкина – мужчины старой закалки, который в органах работал уже лет тридцать, начиная с должности обыкновенного писаря. О жизни его было известно немного, но Горенштейну Ошкин как-то рассказывал историю про Гражданскую войну. Дело в том, что Ошкин всегда ходил со старой палкой, сильно хромя: его левая нога просто не гнулась. Как он сам рассказывал, его ранили в колено в декабре 1919 года под Новониколаевском. Эта история у него была самой любимой: он был единственный в отделении, кто воевал в Гражданскую. Роста он был небольшого, даже ниже Кирвеса, и довольно сильно располнел: его тело напоминало какой-то овал, а ноги были короткими и непропорционально тонкими. Их худобу скрывали галифе, которые Ошкин, по популярной в участке шутке, не снимал даже когда спал. Руки и ладони у него тоже были пухловатые, но на правой ладони был огромный шрам: как рассказывал Ошкин это его бандиты пытали, когда он в 1933-м работал под прикрытием в банде. Голова у него была по смешному круглая, волосы седые, нос картошкой, лицо все было в складках и морщинах, а глаза... глаза были какими-то выцветшими и пустыми. Усталопустыми, скажем так. Самым примечательным во внешности подполковника были его усы: пышные, седые, местами желтые от папирос, даже пышнее усов недавно обнаруженного Дроздова. Бывали периоды, когда усы разрастались настолько, что свисали ниже уголков рта. Ходил он всегда в старом повседневном кителе, с одним, самым важным для него орденом: орденом

Красного знамени РСФСР, еще варианта 1918 года. Внешне он почти ничем не отличался от ордена Красного знамени, например, того же Горенштейна, однако единственным серьезным отличием было то, что внизу выгравированно «Р.С.Ф.С.Р.», а не «С.С.С.Р.».

«Садись, капитан» – сказал Ошкин не вставая со стула. Горенштейн положил на стол тоненькую папку «Дело №1037», а Ошкин, ничего не говоря и скривив уставшее лицо, принялся листать свежие бумажки. Каждая беседа Горенштейна с Ошкиным всегда начиналась с этой немой сцены: Ошкин сначала разбирался в бумагах, а потом задавал один и тот же вопрос: «Тут все верно и правдиво?». Горенштейн кивнул.

«Какой-то бред. У убийцы не было мотива, понимаешь? Ничего не украл, вроде и ревность с местью не подходят... правда, может быть, что у этой семейки было что-то дорогое и противозаконное, про которое его баба побоялась сказать» – говорил Ошкин, то обращаясь к Горенштейну, то к своим мыслям.

-Нет – прервал подполковника Горенштейн – по ней было видно, что она не врет. Нет у них ничего такого, что можно было бы своровать.

-Хорошо, тогда у них могли быть враги, про которых они сами не знали?

-Откуда?

-Это может быть связано с очень давними временами. Помнишь, как в 47-ом сын раскулаченного грохнул сына того, кто его отца раскулачивал в 20-е? Тут может быть что-то вроде этого.

-Вы предлагаете копать биографию этого Дроздова?

-Если это возможно, то хорошо бы. Я уже почти 30 лет в органах и могу сказать с уверенностью, что в прошлом любого человека столько дерьма и столько зацепок для настоящего...

Горенштейн вышел из кабинета Ошкина весьма озадаченным. Нужно было поднимать архивы: вполне вероятно, что следы каких-то врагов Дроздова могут проявиться в его прошлых делах.

...Летов же сидел с потерянным видом в стороне от города. Если идти в сторону от Инской, то там начинался густой лес, а в глубине него, где-то километрах в трех от Первомайки, был небольшой овраг, по дну которого текла умирающая река. Что интересно, вокруг оврага деревья были давно вырублены, и получалось так, что при выходе из леса начиналась небольшая полянка, с гнилыми пнями, через которую и шел этот овраг, плавно уменьшающийся и, в итоге, переходящий в ручей. И вот на этой поляне, на пне, около оврага глубиной метров 10 – это было самое глубокое его место – сидел Летов. Ветер трепал его волосы, жег лицо, глаза стеклянно смотрели на тонкие стволы невысоких деревьев, которые уже местами выросли и дополнили ряды леса. Ему было плохо – воспоминания страшно мучили его.

Что интересно, Горенштейн почти никак не реагировал на ночные крики Летова. Сначала он вскакивал и подходил к нему, но потом успокоился, потому что сам первые годы после войны частенько кричал во сне (впрочем, сейчас у него такое тоже случалось, но пореже). Пожалуй, многие из тех, кто пережил войну переживали и эти ночные кошмары – жуткие картины боев вряд ли могут спокойно отпустить людей в мирный мир.

Летов сидел и смотрел на эту загнивающую природу. Деревья голыми стояли около будто вырванного, как плоть человека, куска земли. Какие-то бревна свисали над пропастью, пни гнили и мрачно смотрели в небо, моля о пощаде, последние листья, показывающие линии своих костей, отрывались от стволов и падали на землю к своим умирающим собратьям. Вся

эта мрачная и гнилая картина приводила в голову Летова ужасные мысли, которые предвещали приход воспоминаний, а, значит и новый припадок.

Вой ветра и тишину прервала еле слышная фраза Летова, которую он сказал этому простору: «Я живу бесконечно растворяясь».

...Огромная колонна шла по размытой дороге. Солдаты тряслись от холода, полы шинели были коричневыми от грязи, потертые сапоги тонули в ней. Пилотки были превращены в подобию пилоток: отвороты опущены. У некоторых грязь была даже на лице. Рядом шли немцы с автоматами – им тоже было несладко. Летов же шел рядом с Лехой, солнце тускло светило, также, как и сейчас – только там, в Европейской части страны, было куда теплее.

Семь лет назад они шли по этой дороге, где-то далеко в Воронежских краях, дым окутывал лес, крики раненых и редкие выстрелы нарушали монотонное хлюпание грязи. Вдруг, по наименее размытой части дороги, проскакал конь. Обычный темно-коричневый конь, трясая своей гривой и хвостом, неся вперед мимо уставших пленных и немцев. На коне сидел немецкий офицер, с сумкой на плече, которая словно плеть отскакивала от него и была по боку лошади и его оттопыренной ноге.

«Серег, твою ж мать, я не могу, у меня ноги сейчас засосет» – простонал Леха.

Летов ничего не ответил, лишь положил руку Лехи себе на плечо и тот поплелся дальше, используя плечо Летова как своеобразную трость.

Часа через полтора этого болота бывшие солдаты РККА дошли до новенького лагеря. По периметру стояли солдаты в немецкой форме, которые отборным русским матом поливали «новую партию вырождаков». Все поняли, что это русские предатели в немецкой армии. И началась перебранка: в ответ на мат будущих власовцев начали материться наши. Однако, когда перебранка достигла своего апогея, немцы принялись пускать в небо пули и бить солдат автоматами по голове.

«Los, los!» – орали озверевшие фрицы.

В итоге уставших и голодных пленных ввели через ворота лагеря, побивая автоматами по спине и поливая отборными оскорблениями. Дело в том, что Летов с Лехой не ели и не пили ничего кроме дождевой воды из луж уже три дня – сначала они бежали к своим, потом попали под обстрел, потом шли с немецким конвоем к общей колонне пленных, а потом еще в ней шли часов восемь. После всего этого их еще побили, поматерили и, видимо, не собирались пока что заводить в барак.

Пленных построили, а тех, кто падал на колени от усталости, поднимали и еще били. В итоге перед колонной встало несколько охранников (как раз русских) и, кажется, тот офицер, что ехал на коне. Его страшное от ненависти и презрения лицо внушало ужас большинству пленников. Летов хорошо запомнил это лицо: веснушки, шрамы на щеке, злобный взгляд почти что полностью черных глаз, такие же черные волосы, свисающие из под кепи и кобура с «Вальтером» – наверняка заряженным, как заметил Летов.

«Так, евреи, комиссары и коммунисты в отдельную колонну – для вас отдельный барак, вы подлежите отправке в Германию, на работы» – громко сказал офицер. Говорил он с сильным акцентом, но явно не немецким и всеми силами пытаясь свести этот акцент на нет.

Некоторые пленники вышли из строя, но их было всего несколько человек из полутора сотен. Тогда лицо офицера озверело еще сильнее и солдат, стоявший рядом с ним, быстро побежал к командиру колонны пленных, взяв у него стопку красноармейских книжек.

«Моисеев, Эглитис, Бронштейн» – называл фамилии офицер и пленники, зная, что их фото есть в книжке, послушно выходили из строя. Эта жуткая пофамильная, по сути, панихида длилась минут пять. Офицер перебирал книжки, смотрел на национальность и должность. Комиссаров, евреев, а, иногда просто тех, чья «харя» ему не нравилась, он называл. Те, кто не выходил, были сразу замечены офицером и вытасканы в отдельную колонну.

«...Монштейн» – закончил офицер. В итоге, в отдельной колонне стояло человек двадцать, не больше. Солдаты, уже отлично зная, что нужно делать, принесли связку лопат и кинули ее перед ногами отдельной колонны.

«Копайте» – холодным голосом сказал офицер, доставая из портсигара папиросу. Некоторые солдаты начали кричать и плакать, но сразу получали пинков и были вынуждены брать лопаты, копая себе яму, прежде сняв шинели. После двух выкуренных сигарет офицер взглянул на своих немецких подчиненных и те начали орать, ударяя по спинам копающих: «Быстреей, быстреей копайте, сучьи дети!».

Обреченные на смерть и вправду стали копать быстрее, после еще одной выкуренной сигареты яма была готова. Копатели вылезли наружу, из их рук вытащили лопаты и кинули в сторону.

«На колени» – также спокойно сказал офицер.

Один из солдат с криком и со слезами на глазах бросился к офицеру, но не успел он пробежать и метра, как его сразу прошило очередью. Пленники поняли, что это конец и, повинаясь приказу, упали на колени. В этот момент Летов ощутил полную пустоту. Для него на колени упали не солдаты, нет, для него на колени упал весь народ, упали все. На его душе оказалась такая жуткая пустота, что она раздирала его, как барс раздирает плоть. Он уже хотел завывать от ужаса, но сдержался; почувствовав падение всего, он одновременно почувствовал пустоту, он почувствовал ужас, такую пустоту, которую, наверное, не чувствовал даже сейчас, холодной осенью 49-го. Это был конец. Конец для его нормальной жизни, конец его души. С этого дня он и начал жить, бесконечно растворяясь.

Пленники, стоявшие на коленях выли, плакали, слезы падали на их испачканные в глине галифе. Шинели обреченных скинули в кучу, чтоб отправить на стирку и прожарку. А сами пленники выли вместе с ветром, который обжигал их лицо.

Офицер все также невозмутимо взвел курок «Вальтера», подошел к первому стоявшему на коленях пленнику и выстрелил ему в затылок. Его мозги вылетели в выкопанную им же яму, а в них упало и его безжизненное тело. Кто-то вскочил, крича от страха, но опять же был прошит очередью и упал рядом с другим беглецом. Офицер начал подходить к каждому солдату, но стрелял он не сразу – он ждал какое-то время, он наслаждался страхом этого пленника, он наслаждался тем, что он трясется от страха. Он мог стоять так секунд тридцать, в то время как пленник обливался холодным потом и ждал пули. Жертва тряслась от страха, а палач трясся от наслаждения и выжидал момент, когда нажать на курок.

Минут через пять все было кончено. Почти все упали в выкопанный ими же ров, а те, кто остался лежать на краю, мрачно и безжизненно смотря в небо, были скинуты вниз солдатами.

«Закапывайте это отребье» – сказал оставшимся в живых пленникам офицер. По его лицу было видно, что он испытывал жуткое наслаждение от этого, он наслаждался страхом покойных и их убийством, он наслаждался кучей крови, которая заливала все вокруг.

Кто-то из молодых пленников упал на колени и его начало рвать. Немцы смеялись над ним, ржали, как могли, а офицер с некоторым уже новым наслаждением смотрел на согнувшегося солдата, извергавшего свою мерзкую пищу.

Все медленно, немного боясь, подошли ко рву. Вниз капала кровь, трупы беспорядочно лежали друг на друге. Четверо пленников скинули в ров прошитых очередью беглецов, а остальные разобрали лопаты и начали закапывать эту гору трупов. Кто-то блевал в сторонке, не выдерживая таких луж крови и мозгов, кого-то выворачивало прям в яму, кого-то на своих товарищей (таких, обычно били потом). В итоге расстрелянные были закопаны. Офицер затушил очередную сигарету, вставил заряженный магазин в пистолет, кивнул головой, и конвоиры повели пленных в барак.

Все шли мрачно, кто-то заплетался, после пережитого ужаса. Лицо Летова стало стеклянным, а Леха отхаркивал какую-то жидкость изо рта. Охранники весело улыбались, ведя

стволы автоматов вдоль колонны, а офицер стоял позади и, ликуя, смотрел на холм, под которым лежали трупы.

...Летов лежал на холодной земле. Гнилые листья оплетали его волосы, словно венок оплетал волосы прекрасной девушки. Вот только венок этот сгнил, как и сам Летов.

Когда он начал жить «Бесконечно растворяясь»? Когда он начал чувствовать опустошенность, вечную пустоту? Наверное, с этого самого дня – с пятого октября 1942 года, когда он увидел кучи трупов, которых он и закапывал? Или тогда, в апреле 45-го, когда расстрелял гражданских и окончательно сломал свою жизнь? Он сам не знал ответа на этот странный вопрос, пусть, возможно, и самый важный в его жизни. Просто Летов чувствовал, что у него было как бы три судьбы: настоящего человека до войны, какого-то зверя во время войны и гнилого уродца после войны. Он чувствовал постоянный когнитивный диссонанс из-за того, что в нем жило трое разных людей, роли которых отыграл он сам, в одиночку, словно единственный выживший актер какого-то провинциального театра.

Летов открыл глаза и пред ним предстала картина побега.

...Жизнь пленников шла своим чередом. В бараке смердило, холод окутывал все вокруг, ото всюду слышался какой-то мат, но, главное, каждый ощущал свою беспомощность – сбежать отсюда было трудно. И, казалось, все они остались тут навсегда.

Вдруг обыденные шумы прервал гул. Летов бросился к окну и увидел чудо: трое «Илов» летели на фоне серого неба. Немцы забили тревогу: на улицу стали выбрасываться фрицы в серой форме и что-то кричать. Затем выбежали охранники, наконец, офицер, который заряжал свой жуткий пистолет на бегу. Вот и пошла первая полоса огня: немцы стали рассыпаться, но огромные пули штурмовика доставали их, и на землю падали продырявленные и оружие тела. Тут, из-за штурмовиков показались «Пе-2», которые начали с воем бросать бомбы. Крик радости пленных заглушался взрывами первых авиабомб, очереди крупнокалиберного пулемета сливались с грохотом взрывов и воем разорванных на части немцев.

В это же время разорвалась уже третья бомба: взрывной волной выбило стекла, а сквозь дым стали виднеться немецкие трупы.

Летов с Лехой внимательно наблюдали за этой картиной. Вдруг, вой усилился и в барак ворвался хаос: наши таки выломали дверь, высыпав наружу, прямо под град пуль и бомб. Летов с Лехой бежали вместе. Вот и первый охранник, вставший на пути Летова: какой-то молодой парень с винтовкой. Летов набросился на него и, не думая ни о чем, просто разбил ему нос своим лбом, а потом, повалив на землю, сломал горло прикладом. Леха тоже обзавелся оружием, и они вдвоем рванули к воротам лагеря, которые уже штурмовали пленники.

С деревянной вышки начал строчить пулемет, засыпая трупами изуродованную взрывами землю. Но вскоре, после очередного грохота бомбы, вышку снесло, и разгоряченный пулемет с его убитым хозяином завалило пылающими досками.

Озверевший офицер, в облике которого не осталось ничего человеческого, весь черный от копоти палил по бегущим из автомата. Летов выстрелил в его сторону, но промахнулся: казалось какая-то жуткая оболочка вокруг этого палача отбила пулю.

Ворота лагеря рухнули, сотни ног растоптали трупы охранников, которые обороняли последний рубеж перед свободой, и вот уже толпа людей высыпала наружу, несясь к густому лесу. Немцы бежали за всеми, но их было мало: почти всех поубивало в ходе бомбежки или бойни.

Офицер стрелял до последнего, пока какой-то солдат не ранил его в район живота. Это жуткое зверье в немецкой форме, изрыгнув из себя кровь, упало сначала на колени, а потом на живот – примерно также падали и его жертвы.

Летов с Лехой бежали по лесу, давя ногами опавшие листья, а руками раздвигая сухие ветки. Они неслись вперед, не думая ни о чем, перед ними все сливалось в единый, корич-

нево-желтый фон. Так они бежали минут двадцать, после чего упали на землю, принявшись громко и тяжело дышать.

«Твою ж мать, Серега, мы сбежали!» – выдавил задыхающийся Леха.

-Поскорей бы к своим – тихо пробормотал Летов.

В итоге двое бывших пленников, в испачканных грязью, кровью и блевойтой шинелях, в местах уже порванных сапогах, и с опущенными отворотами пилюток, пошли по холодному осеннему лесу в сторону советских позиций, как им тогда казалось. Шли довольно быстро, но часто проваливались в укутанную осенними листьями грязь, что тормозило продвижение. Пару раз в лесу попались какие-то искалеченные трупы: видимо, это были солдаты из заблудившегося пару недель назад взвода, солдаты которого разбежались и были убиты.

Уже ближе к вечеру, когда тишину нарушал лишь скрип высоченных деревьев, оба солдата почувствовали что-то неладное.

Леха ташил за собой винтовку с полупустой обоймой, а Летов обзавелся оружием получше: он нес автомат и еще пистолет в придачу. Заплетающиеся и отяжелевшие ноги стребали листья в невысокие сопки, ломали проволоку сухих веток и сталь гнилых палок, но, в один момент, их продвижение остановил какой-то неожиданный шорох.

В дерево влетела пуля, и разлетевшаяся кора ударила Летова по его обветренным щекам.

«Фоер, фоер!» – донесся из леса крик, после чего последовал еще один выстрел. Летов с Лехой спрятались за деревьями и вскоре оба увидели своих противников: это были немцы из патруля, прочесывавшего лес.

Летов пустил в их сторону очередь, а потом от фрицев последовала ответная: Летова буквально осыпало кусочками коры. С дерева упала парочка сухих веток, а вороны в ужасе начали разлетаться, разнося своим собратьям весть об опасности.

«Вот же бл...о» – выматерился Летов, ощущая сильнейший страх смерти – сейчас было бы очень обидно погибнуть, да и в те времена жить еще ох как хотелось.

Началась перестрелка: немцы переместились ближе к бывшим пленникам и фактически синхронно обстреливали два толстых дерева, за которыми и прятался Летов с Лехой. Вдруг Леха убил первого немца: тот рванул вперед и сразу схватил винтовочную пулю в грудь. По дереву Лехи полились реки свинца, а Летов лишь воспользовался этим: по немецким деревьям полились ответные реки.

Мысли Летова о страхе смерти пропали: теперь он жил лишь азартом боя, жутким азартом и желанием смерти врага.

Гильзы вылетали из автомата Летова пока на сырую листву не упала последняя пистолетная гильза. Все – автомат был пуст. Летов бросил его в сторону и взвел курок «Парабеллума» – теперь в бой вступал он.

Немцы открыли шквальный огонь. Буквально за долю секунды до этого свинцового ливня Леха высунул голову из-за дерева, чтобы выпустить в сторону немцев пулю, как в друг его почерневшую от грязи шею прошил свинцовый град. Он закрехтел и с ужасом глядя на небо упал на лиственный ковер, испуская огромные струи крови. Из пробитой артерии жутким красным фонтаном брызнула кровь: казалось, высота ее струи составляла с пол метра. Кровь залила все вокруг: даже бедное лицо Лехи стало красным.

«Леха!» -жутко крикнул Летов, увидя эту сцену.

Краем глаза он заметил, что немец вылез из-за дерева и сразу же выстрелил ему в лицо, разворотив нос и бросив труп на землю.

Остался второй. Летов увидел, что он перезаряжал автомат и, собрав силы в кулак, испытывая жуткое чувство такой же, как и у Летова, боли и ненависти, бросился в сторону дерева. Как раз в тот момент, когда немецкий унтер в серой шинели взвел курок автомата, Летов

выстрелил ему в плечо, повалив на землю, после чего с адским криком бросился к нему и начал бить рукояткой по лицу.

«Выродок, ублюдок, падаль!» – орал Летов, усиливая свои удары.

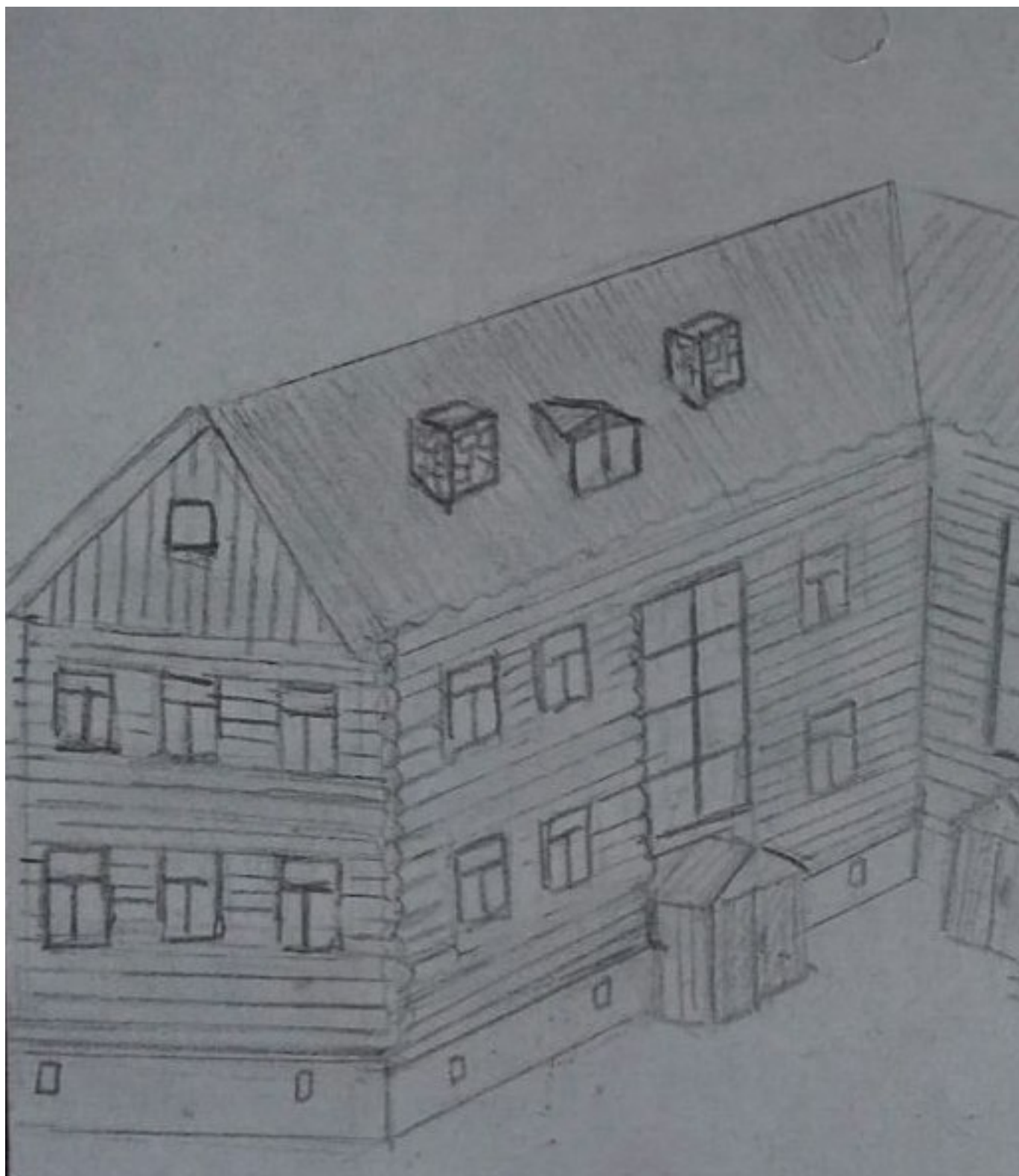
Когда лицо немца было окончательно превращено в кашу, Летов бросился к Лехе. Тот еще жил, но он в прямом смысле захлебывался своей же кровью: ее было неимоверно много. Красная лужа залила гнилую листву, а все лицо было настолько красным от крови, что можно было и не узнать под этой кровавой маской Леху. Он кряхтел, пытался открыть глаза, но сразу же закрывал обратно: кровь заливала глазницы.

«Хочу ж... жить» – сквозь апогей предсмертной агонии выдавил Леха и, резко повернув голову, вдавил лицо в сырую землю.

Летов выл как волк. Его вой раздавался на весь лес, но всем было плевать: лишь тяжелые листья, словно комья земли, падали на залитого кровью товарища.

...Кирвес же, сильно вымотавшийся за этот день и особенно от попыток успокоить жену убитого, чего он уже давно не делал, плелся к своему дому. Располагался он на углу Первой Искитимской улицы и какого-то безымянного проселка в частном секторе, стоя своеобразной буквой «Г» – небольшая загогулина шла по Первой Искитимской, а основная часть дома шла уже по проселку. Вокруг был только частный сектор, который от дома отделяла улица, палисадник и заборчик. Сложен он был из бревен, аккуратно прикрепленных к бетонной основе, угловая крыша была покрыта шифером, из которого вырывались наружу множественные кирпичные трубы, а небольшие окна двух этажей были умело прорублены в бревнах. Вдоль проселка шел черный тротуар из шлака, ниже по Первой Искитимской стояли еще два обычных прямоугольных дома, которые были копиями дома Кирвеса, только без «загогулины» – такие же бревна, такой же шифер, такие же коричневые оконные рамы. Вход во двор дома был огорожен небольшим забором с вечно открытой калиткой, похожий забор отделял дом Кирвеса от следующего за ним дома-копии. Сам дом был устроен весьма необычно и имел три секции: в «загогулине», деревянная дверь в подъезд которой была за углом, были отдельные квартиры, в которых жили средние чины железнодорожной службы. Потом шла основная часть, вход в которую был посередине, где были коммунальные комнаты (Кирвес и жил в одной из них). Но она была отделена от последней, третьей части, стеной и ровной черточкой кирпичной трубы котельной, с местами обсыпавшейся штукатуркой, где опять же шли отдельные квартиры. Под основной частью дома еще были подвальные комнаты, где жили две семьи работников кочегарки и одинокий беззубый дворник, видимо, переболевший цингой – летом он любил лежать во дворе на траве и читать всякие книжки.

Вообще, Кирвесу повезло, что в его доме была кочегарка, которая отапливала еще и соседние два дома: многие жильцы частных домиков закупали себе назиму или дрова, или уголь. Бараки, конечно, чаще всего отапливались кочегарками заводов, но и барачные жители иногда были обречены на постоянную покупку источников тепла. Впрочем, недавно Юлов, который ездил в Тасино по службе, рассказал, что там сошел с рельс вагон с углем. Кирвес сам помнил: в Тасино домики шли практически у самой железной дороги, и Юлов, само собой, решил спросить у одного из жильцов этого «преджелезнодорожного мира»: «А не боитесь ли вы тут жить? Я слышал здесь недавно сошел вагон с углем, вас накрыть могло!». На это старик, уже долгие годы живущий в своем покосившемся домике, мрачно улыбнулся, растянув свои седые усы, и ответил Юлову весело: «А чего бояться! Зато угля сколько, на всю жизнь хватит!». И Юлов, смеясь, рассказывал, что там действительно лежала целая куча угля, которой старик и его соседи спокойно пользовались. Впрочем, тот участок у станции Тасино всегда славился своими происшествиями: по слухам, там еще до войны сошел вагон с пушкой на железнодорожной платформе, которую везли то ли



Войдя во двор, оглядев навечно вмерзшую в землю калитку, Кирвес поздоровался с курящим у первого подъезда машинистом, прошел по замерзшей грязевой дорожке до своего подъезда, и очутился во мраке внутренности коммунальной части дома. Небольшая коляска, стоящая под деревянной лестницей, приветствовала его, рядом с коляской стоял еще большой деревянный ящик на замке – это жилыцы двух комнат на первом этаже хранили в нем мясо и молоко, используя как своеобразный холодильник (хотя слова такого они, конечно же, не знали).

Напротив входа висели такие же как и у Летова карточки, освещенные тусклым светом подъездной лампы и более ярким светом уходящего вправо коридора первого этажа. Осмотрев карточки, Кирвес обнаружил, что висеть неповернутой осталась лишь его с надписью «Кир.», поэтому, мрачно вздохнув и поставив саквояж на ступеньки, Кирвес сделал пару шагов к легкой подъездной двери и закрыл ее на тяжелый крюк.

Поднимаясь вверх по скрипучим ступенькам, которые буквально продавливались под его ногами, Кирвес постоянно возвращался к жене Дроздова, которая так искренне и с такой болью плакала в руках судмедэксперта, надеясь получить от него хоть какую-то помощь – а как незнакомец может помочь человеку, который, возможно, потерял самое дорогое в жизни?! Но Кирвеса успокаивала мысль, что он сделал все, что мог и даже больше – он сумел прекратить хотя бы этот нескончаемый поток слез и всхлипываний.

Короткий коридор второго этажа, который с одной стороны упирался в стену, отгораживающую коммунальную секцию от третьей секции с отдельными квартирами, а с другой упирался в какое-то бутафорское заграждение, которое устроил водитель, живущий в той части коридора, которая упиралась в стенку уже «загогулины» с отдельными квартирами, был тускло освещен светом лампы. Перегорожен он был тремя столами, за которыми ели жилыцы трех комнат, и Кирвес в их числе – в комнате просто не было места для стола. На столах стояли электроплитки, отключенные от пробитых рядом розеток, какие-то кастрюли и горшки. Самым маленьким столиком был стол Кирвеса – там стояла лишь электроплитка и небольшая кастрюлька, а посуда лежала в комнате. С другой стороны коридор поворачивал влево, ведя к еще трем комнатам и к общей кухне, где ели жилыцы уже тех, оставшихся, комнат.

Открылась легкая коричневая дверь лежбища Кирвеса, которая сливалась с коричневым полом коридора, который сливался с коричневым полом комнаты, который сливался с коричневым подоконником и коричневой оконной рамой. Из окна открывался вид на темный двор, окутанный сумраком и осенним холодом. Дворик был небольшой, разрезанный покосившимся деревянным забором, шедшим практически вплотную к соседнему домику. Напротив окна Кирвеса лежала огромная куча плака, которая практически наваливалась на стоящий рядом с ней общественный сортир, сложенный из досок – в него ходили жилыцы подвальных комнат, двое из которых, работающие в кочегарке, и были создателями этой «шлаковой горы». А в паре метров от туалета, прижатая к заборчику, стояла квадратная коробка деревянной помойки, с побеленной известкой крышкой – туда жилыцы сносили свои отходы, коих было очень мало.

Кирвес присел на свою койку. Свет он не включал – сумрак, привычный ему еще со времен Эстонии, был приятнее тусклого света лампочки. Жаль, конечно, что сквозь сумрак были не видны лица жены и дочери, застывшие на черно-белой фотокарточке в чистой рамке – ну, ничего, утром всегда есть пара минут, чтоб поздороваться и полюбоваться ими. А вот очертания большой картины, на которой было нарисовано эстонское побережье Финского залива, были видны даже и в сумраке – казалось, что на монотонной глади стены бушевал прямоугольник беспокойного черного моря, в которое так хотелось нырнуть, как в молодые годы, когда он вместе с женой купался на таллинских пляжах.

Нахлынула нестерпимая грусть. День его вымотал, слезы жены убитого словно прожгли его душу и вот, как и всегда в те дни, когда Кирвес успокаивал родственников жертв, полились

слезы. Да-да, судмедэксперт, постоянно работающий с трупами, мог плакать и плакать от слез живых и несчастных людей – в душе Кирвеса всегда жило сильнейшее чувство сопереживания, которое только усилилось после смерти жены. Кирвес сопереживал и поэтому, зачастую, мог успокоить тех, кто только узнал о том, что потерял, возможно, самого близкого человека. Это чувство в нем с рождения – еще в детстве он успокаивал своих друзей, которые плакали от того, что папа погиб на войне или от того, что умерла мама. Кирвесу было лет десять, а он уже мог успокаивать тех, кто потерял самое важное в жизни; обнимал этих несчастных друзей, гладил по голове, говорил что-то своим тихим и приятным голосом. С самого детства Кирвес мог сопереживать и это прекрасное чувство он пронес с собой через всю жизнь; через те сотни осмотренных трупов, через все потрясения; даже через смерть жены, которая убедила его – помогать тем, кто потерял все – просто необходимо. И поэтому Кирвес был таким... необычным: работа, требующая железных нервов и, пожалуй, безчувственности в меру, а тут такое сильное чувство сопереживания.

Вот поэтому в любой день, когда Кирвесу выпадало успокаивать родственников убитых (а таких дней было много), когда он погружался в сумрак или вечерние закатные лучи в своей комнатухе, то он плакал; плакал сильно, так, что слезы обжигали своим холодом изрытое морщинами лицо.

Сейчас он сидел согнувшись, бросив голову на грязные руки, и рыдал минут пять. Потом обтер лицо, сходил в уборную, которая разместилась у поворота на кухню, умылся, а потом побрел к своему столу, дабы поужинать хоть чем-то.

...Серость покрывала город. С утра немного моросило, «дворники» «Победы» со скрипом терлись о лобовое стекло. Редко встречающиеся избушки возвышались, словно надгробные плиты над гнилой землей, серое небо смешивалось с тусклыми лучами последнего, еще чуток греющего перед ледяной зимой, солнца.

Около старой избы на краю города уже стояла «Труповозка» и несколько постовых в плащ-палатках. Кирвес достал из под ног свой старенький саквояж, Юлов «Фотокор», Скрыбин полевую сумку и химический карандаш. Машина затормозила на размытой дороге, давя под собой последнюю пред заморозками грязь, а наши герои вышли на холод, сырость и морось. Горенштейн даже поднял воротник шинели – так сильно его пробирало. Кирвес был привыкшим к такой погоде, Юлов тоже, а Скрыбин всегда поддевал кучу тряпья под свой широкий китель.

Постовые отдали честь и трясущимися от холода руками отворили старую дверь. Видно было, что жилище довольно заброшенное: на ступенях, помимо свежей грязи с подошв постовых, почти не было никаких следов. Дверь открылась со скрипом и из дома пахло махоркой, водкой и кровью. Кирвес повернул фарфоровый выключатель и все увидели лежащего около кровати зарубленного мужчину. Лежал он животе, в огромной луже крови, кисти на оттопыренной руке не было.

Кирвес опять буркнул что-то на эстонском, а потом каждый начал делать свою работу: Кирвес осматривать труп и измерять лужу крови, глубину ударов, Горенштейн обыскивать жилище, Юлов готовить аппарат к съемке, а Скрыбин вести протокол.

Дом опять же был очень скромным. Сгнивший пол скрипел под сапогами Горенштейна, а лампочка тускло освещала все вокруг. Шифоньер, стол, парочка стульев, полки с книгами и пожелтевшее окно. Особенно интересным было то, что на столе стоял старенький патефон, с блестящей «улиткой», около которого ютилась целая стопка пластинок. Самой крайней была пластинка с песнями Виноградова в новом конвертике.

Однако везде все было в пыли. Абсолютно все – даже некоторые вилки на столе. Горенштейн сразу вспомнил свою холостяцкую жизнь и понял, что мужчина этот жил одинокой жизнью.

На полке с книгами он нашел несколько писем от Марфены Олеговой из Акмолинска. На старенькой бумаге острым пером были с трудом прописаны буквы – явно писал человек плохо видящий и не очень умевший писать – налезавшие друг на друга корявые строчки усугублялись еще постоянными орфографическими ошибками и часто встречающимися большими буквами вместо прописных. Горенштейн пробежал первое письмо и понял, что писала это мама, а зовут убитого, вероятно, Леней. Особенно тронула Горенштейна фраза из пожелтевшего письма: «НАлоГ НА бездитнАсть плотить ни устАл?».

Кирвес закончил осмотр трупа и, убрав с лица легкую гримасу омерзительности, пробормотал: «Убили часа три назад, то есть около четырех утра, судя по всему, его разбудили. Пил он много, это по запаху и лицу видно. На лице шрам, очень похоже на шрам от осколка, вероятно, фронтовик. Лет ему около сорока, вел даже очень нездоровый образ жизни. Причем на ладони татуировки, ЗЭКовские, он и сидел выходит. Убили его тупым предметом, около тридцати ударов по затылку и шее. Кисть отрубили с особым азартом: в полу огромная яма от удара топором – убийца сильно рубил, как дрова. Опять же, судя по обилию капель крови около самого места обрубка и их дальнейшего исчезновения, кисть подняли на человеческий рост – об этом характер капель говорит, а потом положили ее куда-то. Судя по силе ударов и характеру ранений орудовал тот же человек, что и позавчера. Ну, и да, под головой все то же четверостишие».

«Из Маяковского?» – спросил Скрябин.

-Да, оттуда.

Горенштейн все внимательно выслушал, принявшись вновь пытаться выстроить хоть какую-то логическую цепочку. Он оглядел комнату и увидел стоящую на полке с книгами шкапу. Была она старой, но очень простой: из обычного дерева, без каких-либо узоров или украшений. На ней уже был целый слой пыли, смешиваясь с толстым слоем пыли на самой полке, причем оба этих слоя были вообще не тронуты: видимо, и жилец туда давно заглядывал, и уж тем более убийца. В самой шкапке было не густо: паспорт, трудовая книжка, несколько десятков рублей на дне и потертое обручальное кольцо.

Горенштейн открыл пожелтевшие страницы паспорта. «Леонид Яковлевич Олегов, 1906 год рождения, родился в Купино, русский, рабочий. Прописан здесь с 46-го года» – быстро пробормотал он и подошел к трупу.

«Это он?» – своим картавым голосом спросил Горенштейн у Кирвеса, указывая на маленькую фотокарточку в паспорте.

Кирвес приподнял голову убитого, из под которой уже извлек пожелтевший кусочек бумаги, посмотрел на него и мрачно кивнул в ответ. Горенштейн вздохнул с облегчением – хотя бы личность установили.

Вслед за паспортом надо было изучить трудовую книжку. Она тоже была старой: выдана еще в 41-ом. Последним местом работы был... Паровозоремонтный завод! Вот и связь с первым убитым.

Снова взорвался пакет с магнием, разбросав свет и искры по этой тускловатой комнате. «Фотокор» работал как часы, фиксируя каждую деталь места преступления, а тусклый свет лампы заменял пучок искр, разлетающийся по воздуху. Постовые жались около дома, пробираемые осенним холодом, колеса машин тонули в жуткой грязи, голые деревья стояли силуэтами, схожими с силуэтами скелетов: словно где-то вдалеке стояла целая армия скрепленных костей, воткнутой в новосибирскую грязь.

«Кто нашел труп?» – вдруг спросил Горенштейн.

-Да рабочий с его цеха – не отрываясь от протокола пробормотал Скрябин – зашел за другом.

-А где он?

-На улице стоит, курит.

-Черт возьми, а какого черта ты его не зовешь?

-Так жду вашего приказания, товарищ капитан.

-Едрить твою репу... Зови его скорей и протокол готовь.

Скрябин быстро вышел к лестнице и позвал в дом свидетеля. Выглядел он как обычный работяга: старенькая зеленая телогрейка, изодранные военные галифе, измазанные в грязи боты «прощай толстый живот» и кубанка с завязанными на подбородке ушами. Лицо его было красным от холода и мокрым от мороси, с кучей складок, а глаза были какими-то преждевременно старыми, будто бы выветренными и запыленными.

Свидетель мрачно посмотрел на труп, но отреагировал довольно спокойно – видимо на фронте их повидал он много.

Шапку снял, ворот грязной рубахи под телогрейкой расстегнул и оглядел собравшихся. Безразличный Кирвес в длинном пальто, задумчивый Горенштейн в синей милицмейской шинели, спокойный Юлов в плаще, и заспанный Скрябин в шинели нижних чинов.

«Здравствуйте» – тихо пробормотал свидетель.

Горенштейн кивнул и отчеканил: «Мы хотим задать вам пару вопросов, которые могут помочь поймать нам убийцу».

-Задавайте, я готов, что уж.

Скрябин сменил бланк, наслонявил химический карандаш, кивнул и Горенштейн продолжил: «Во сколько вы нашли убитого?».

-Да как на работу шел. Ну, это часов шесть утра выходит.

-Убитого звали Леонид Олегов?

-Он самый.

-У него семья там, родственники есть?

-Женушка была, да разбежались они еще году этак в 46-м. Он мне даже кольцо свое показывал, которое он когда женился на ней надевал. А сейчас одна матушка осталась, в Казахстане где-то живет.

-Вы с ним вместе работали?

-Да, на стрелочном, во втором цеху.

-Давно знакомы?

-С 47-го годка значится, как я приехал сюда.

-Часто у него дома бывали?

-Да почти каждую субботу после работы заходил. Все равно жене там детей надо уложить, я и приходил попозже, чтоб не мешать ей.

-Оглядите комнату: тут ничего не пропало?

Уставшие глаза, полные мрака, принялись аккуратно двигаться вдоль комнаты. Сначала свидетель заметил, что нет шкапулки, но сразу же увидел ее на столе. Потом задержал свой взгляд на окровавленной спине его товарища – в этот миг в глазах свидетеля и поселилась та боль, которая была страшно знакома Горенштейну: примерно так он выглядел, когда стоял около Змиевской балки, где среди 27 тысяч тел невинно убитых гражданских, лежала и его семья.

«Н... нет, ничего не пропало» – заикаясь и сдерживая слезы ответил свидетель.

-Чисто символически – мрачно сказал Горенштейн – поставьте подпись с расшифровкой в бланке, вам ефрейтор покажет.

Горенштейн отвернулся к окну, оперся об грязный подоконник и оглядел округу. Одиноко и пустынно было тут: словно какой-то ураган прошел и вырвал все, оставив лишь грязь. В это время в комнату вошел постовой в мокрой плащ-палатке.

«Товарищ капитан, обошли округу – ничего не найдено – никаких улик вообще».

-Кисти тоже? – уже зная ответ спросил Горенштейн.

-Так точно.

Капитан кивнул головой, впрочем, это был скорее не кивок, а просто свободное падение головы вниз, отошел от подоконника, и группа милиционеров начинала готовиться к отъезду. Ветер все также выл, ломая сухие ветки, мелкие, словно пропущенные сквозь марлю, капельки падали на землю, будто оплакивая убитого.

...Горенштен ехал в «Победе». Юлов спал, нагнув голову, Кирвес не моргая смотрел в стекло – он имел обыкновение вот так «застывать», вспоминая что-то или думая о чем-то, а после этого, не меняя своего удивленно-потерянного выражения лица, начинал говорить.

«Вчера дочка написала, что у нее второй ребенок родился. Превзошла уже меня – я то только одного успел сделать» – мрачно проговорил криминалист.

-Я троих успел – так же мрачно ответил Горенштейн.

-Они тоже не с тобой живут?

-Они всегда со мной. Всегда и навсегда.

-Разошлись что ли?

-Их убили.

Кирвесу стало стыдно – говорить о таком... Наверняка он взбудоражил воспоминания Горенштейна, или что-то в этом роде.

–Ничего – ответил Горенштейн, предвкушая слова прощения от Кирвеса. – Можешь не извиняться. Я привык.

Горенштейн откинулся на спинку сиденья. К счастью, воспоминания о погибшей семье не пришли – словно они сами не хотели делать больно своему папе.

... «Итак. Все также, как и на месте первого преступления. Убили предположительно топором, глубина ударов все та же, кисть отрублена и куда-то унесена, в округе ее нет. Из комнаты ничего не пропало, даже деньги и обручальное кольцо» – равнодушно тараторил Горенштейн, сидя в кабинете Ошкина.

«Связь между убитыми есть?» – спросил Ошкин.

-Особо нет. Разве что убитые работали на одном и том же заводе.

-Туда ездили?

-Скрябин съездил. Убитый был примерным работником, даже грамоты имел. По словам его коллег с первым убитым они вообще никак не контактировали: цеха то довольно далеко.

-Может они были связаны как-то? Вместе какими-то грязными делишками занимались, нарвались и их убрали.

-Не похоже по ним, чтобы они занимались чем-то преступным.

-Никогда не смотри на внешность. Вообще никогда.

-В любом случае, если бы они были связаны с бандюганами, то были бы какие-то следы этого: больше денег, или хотя бы улучшение жилищных условий. А оба они жили в таком свинарнике, что...

-У тебя есть версии случившегося?

Горенштейн пригорюнился, ибо просто не знал, что ответить. – Нет, товарищ подполковник – мрачно ответил он – нету. Я долго думал, и... ничего не подходит.

–Этого стоило ожидать – задумчиво пробормотал Ошкин. – Ступай, дожидесь его матери для опознания. А ты пока подумай, что нужно делать дальше.

В коридоре его поймал мрачный Кирвес.

-Я посмотрел эти четверостишья на отпечатки пальцев – сказал он. – Никаких отпечатков нет вообще. Либо он подкладывал ее в перчатках, либо... в общем, бывают такие, которые себе подушечки пальцев срезают. В 45-ом тут такой был грабитель.

-Знаю о нем – задумчиво ответил Горенштейн. – Давай отчет, я вложу его в дело.

Глава 6.

«...В неких мирах был уничтожен бомбежкой

Наши еще и не строенный уютненький дом»

-- А.Непомнящий

-Товарищи – мрачно начал Горенштейн, стоя у длинного стола – мы с вами имеем четверых зверски убитых за полторы недели, между которыми, по сути, нет связи. Первые двое убитых хотя бы работали на одном заводе, хотя никак не были связаны, а остальные двое вообще жили в разных районах! Один служил тут, в пожарной части, которая на Стрелочном заводе располагается, а второй приехал сюда к собутыльникам из Дзержинского района. Самое ужасное в том, что мы в полном тупике: следственная группа не знает, что делать – ника-

ких свидетелей и улик нет, а убийства все схожи, словно делаются по одному плану. Повторяется одно и то же: пропажа отсеченной кисти, огромное количество ударов, четверостишие из «Левого марша» Маяковского, отсутствие кражи и пропажи чего-либо. Есть предположение, что убийца вообще убивает кого угодно: у него нет четких целей.

Ошкин слушал и кивал головой. Кирвес опустил лицо на свои старые руки, Юлов был как обычно спокоен, Скрябин сидел вытянувшись и с лицом полным уважения слушал своего командира.

Ноябрь уже вошел во вкус. Грязь заледенела, последние листья облетели с деревьев и их голые силуэты резали серое небо. Солнца не было видно уже дня три, лишь ледяной ветер тряс голые ветки, а их бывшие жильцы – листья смерзлись друг с другом в ожидании гниения. Иней покрыл их, и тонкий белый слой ложился на Первомайку, словно пелена на глаза. Календарь с отставанием в один день показывал дату – 17 ноября 1949 года.

Ошкин приказал Горенштейну сесть и, как обычно, не вставая со стула, положив свою несгибаемую ногу в проход, начал говорить: «Товарищ капитан говорит все верно: никаких подвижек в деле нет – у нас даже отсутствует подозреваемый. Я думаю, мы все понимаем, что раскрываемость и успешность милиции после войны резко упала – сколько отличных милиционеров и следаков погибло на фронтах. Именно из-за этого у нас отсутствуют спец для повышения раскрываемости. Я ни в коем случае не умаляю ваших талантов, товарищи, вы все хорошие опера. Вспомните хоть поимку банды грабителей из Барабинска, которая у нас тут обосновалась. Но то грабители, для их поимки уже есть своеобразная схема, есть определенные оперативные действия в отношении их ликвидации. Однако это дело донельзя необычное, оно требует разрушения всяких рамок и схем, тут не подойдет ни одно из стандартных действий. А мы, уж извините за откровенность, на это не способны. Вообще никак. Мы с вами шаблонники, товарищи, а действовать вне шаблона мы не можем. Как троечники в школе. Поэтому нам нужен реальный спец, который может действовать вне всяких правил и шаблонов».

Скрябин уже пытался что-то сказать, но Горенштейн посмотрел на него злобным взглядом, и ефрейтор вжался в стул, так ничего и не сказав.

–Так вот – продолжил Ошкин – недавно в Одессе был сформирован Штаб по борьбе с бандитизмом. Привлекли туда много кого, но, в первую очередь, бывших сотрудников милиции, либо уволившихся в послевоенные годы, либо не вернувшихся к милицейской работе после фронтовых дней. Они могут расследовать только одно дело, и доступ имеют только к его материалам. Есть предложение создать нечто подобное и у нас. Кто что думает?

–Никак нет – быстро ответил Горенштейн – не нужен штаб. Дело деликатное, мы можем и одним-двумя людьми обойтись.

–И кем же? У тебя есть предложения?

–Я бы лучше в беседе с глазу на глаз предложил. Там серьезный вопрос.

–Понял. У кого-то есть предложения кого можно привлечь к расследованию?

–Может Лунина, он у нас служил тут два года – предложил заведующий архивом.

–Ты совсем что ли? – усмехнувшись ответил Ошкин – он же алкоголик, да и какой из него следак. Он жрал водку даже на месте преступления, черт побери! И, да, товарищ завархивом, хватит его толкать везде. Если ему нужны деньги, то пусть работать идет, а не пользуется твоей дружеской помощью, чтоб подработать. Еще предложения есть?

Все мотнули головой, Ошкин мрачно усмехнулся и громко сказал: «Собрание окончено, товарищи, ступайте. А ты, капитан, рассказывай там о своем претенденте».

Все медленно выползали из кабинета начальника отделения – самого большого кабинета в здании. Кирвес выходил последним: в руках он мял карандаш, а штанины новых брюк были подвернуты – было ясно, что криминалист ошибся с размером, и длина штанин была слишком большой.

–Итак – начал Горенштейн – вы же знаете о Сергее Летове?

–Я почему-то так и думал, что ты заговоришь о нем – ответил Ошкин. – Да, разумеется я его знаю – мы с ним почти пять лет вместе проработали. Он после меня был тут начальником райотдела, пока меня перевели на Заельцовку.

–Он правда был таким спецом?

–Не то слово! Я за всю свою работу не встречал такого толкового следака, как он. У него была безупречная раскрываемость. Ему вроде Горком даже грамоту дал в 40-м году.

–Вы в курсе что с ним произошло?

–Об этом вся Первомайка болтала. Сначала говорили, что он убил своих, потом что немцев, а потом узнали наконец, что это австрийцы были. Знаешь, скажу честно – я его не виню даже. Австрияки то еще дерьмо, вспомнить хоть Первую Германскую.

–Я думаю предложить ему. Он действительно специалист и, по мне, сможет, как вы сказали, сломать шаблоны.

–Вообще, я тоже думал над этим. Это, конечно, рискованно, особенно если «наверху» узнают про его делишки. Однако, знаешь, если мы сумеем недельки так за полторы этого уroda поймать, что Серега может сделать, то «сверху» никого не пришлют. А вот если мы его не поймаем, то точно пришлют, из ГПУ кого-нибудь.

–ГПУ?

–Тьфу ты ё моё, теперь же его нет. Из МГБ. Куда с недавних пор и мы входим.

–То есть вы согласны привлечь его к расследованию?

–Да. Предлагай ему. Он же давно откинулся, паспорт уже есть?

–Так точно.

–Тогда скажи, что это крайне важно. Впрочем, я почти уверен, что он согласится. Выдадим ему справку и мандат – пусть берет дело в свои руки. А я пока кое-куда позвоню.

...Летов лежал на полу. Грязь засохла на его брюках, пуговица от рубашки одиноко валялась около кровати. В сжатых ладонях лежали клоки волос, вырванных Летовым, а сами волосы были жутко взъерошены, на пальцах виднелись огромные укусы от зубов – Летов, чтобы не кричать, использовал свою грязную кисть вместо кляпа.

В эту неделю припадки как-то усилились. На выходных, когда Горенштейн был дома, Летов почти постоянно пил с ним, от чего воспоминания, а, следовательно, припадки исчезали.

Однако если он понимал, что скоро начнется, то выходил в туалет и был там. Впрочем, Горенштейн в последнее время появлялся тут крайне редко – все чаще он ночевал у Валентины, и никто не мешал Летову оставаться наедине со своим безумием.

«Nicht nötig, nicht nötig, nicht nötig» – эти последние слова невинного австрийца вертелись в голове Летова снова и снова. Он вспоминал три самых жутких момента своей жизни: расстрел в плену, убийство Леги и... собственноручное убийство. Воспоминания появлялись просто так, непонятно от чего, вокруг ведь была лишь звенящая тишина: всплывут, побудут в голове и опять опустятся вниз.

Летов услышал шаги в коридоре – по времени уже должен был вернуться Горенштейн. Поднялся с пола, отряхнул пыль с одежды и, даже не дожидаясь ударов мощным кулаком в дверь, отворил ее. Горенштейн, улыбаясь такому предугадыванию Летова, зашел в комнату, механично снял шинель и упал на стул.

«Как ты тут?» – задумчиво спросил он.

– Да все как обычно – ответил Летов. – Я сейчас разогрею картошку, тут осталось со вчерашнего дня.

– Погоди. Есть разговор.

Летов удивленно посмотрел на мрачного Горенштейна, положил обсохшую ложку на стол и, ожидая чего-то печального, ответил: «Говори».

– В общем, дружище – начал Горенштейн. – У нас сейчас дело расследуется... жутко странное и опасное. Людей, чтоб его раскрыть, у нас просто нет. Даже я не гожусь. Наш начальник предложил привлечь кого-то к расследованию, вроде Штаба по борьбе с бандитизмом. Я порекомендовал тебя. Ошкин согласился.

– Ошкин? Хрена ж себе, он до сих пор тут!

– Ты согласен работать у нас? Быть оперуполномоченным и расследовать это дело? Ты просто пойми, это... это невероятно важно. Разговор идет о ряде жесточайших убийств, который надо немедленно прекратить. Погибло уже не мало людей.

– Почему именно я?

– Потому что все, кто тебя знает как мента, говорят, что ты спец. Ошкин сказал, что ты самый толковый следок, которого он встречал.

– Не забыл еще меня майор.

– Он подполковник уже.

– Растет... Ты хочешь, чтобы я вернулся в милицию для расследования одного дела?

– Крайне важного дела.

– Я не уверен в себе. Ты пойми, я уже восемь лет как с милицией не связан. Да и вообще, Ошкин знает о моей послевоенной биографии?

– Отлично знает. Он сказал, что херня все это. И я с ним согласен.

-Он готов сделать уполномоченным человека, который отсидел четыре с половиной года?

-Ты искупил свою вину перед Родиной. Так что ничего такого в этом нет.

-А если проблемы начнутся?

-Если мы его поймаем недели так за полторы, то не начнутся. Тебе выпишут премию, заработаешь. А «наверх» про тебя особо говорить не будем. Да им и плевать будет: самое главное показать, как круто действовали наши следики, поймав особо опасного преступника.

-Оно правда такое важное?

-Я врать не стану.

Летов оперся руками о стол, который издал испуганный скрип – давненько ничего тяжелее наполненных едой кастрюль и сковородок на нем не стояло. В голове Летова, наподобие стаи варон, крутилось много мыслей. Самой главной была мысль долга: если дело действительно такое важное и опять гибнут невинные люди, то это надо прекратить. Летов конечно же догадывался, что в рядах милиции сейчас дела идут неважно – сколько хороших следиков полегло. Чувство долга говорило ему согласится, разум выводил какие-то контраргументы, мол, убьют еще или что-то в этом роде... хотя, он совершенно не боялся смерти. Вообще. Скорее даже хотел ее.

«Я... я согласен» – задумчиво ответил Летов, стукнув рукой по грязному столу.

-Ты уверен? – спросил радостный Горенштейн.

-Абсолютно.

-Тогда пошли в отделение. Выдадим тебе все, что нужно.

Летов быстро снял свои измазанные грязью брюки, напялил более-менее чистые милицмейские галифе, накинул пальто и вышел вслед за Горенштейном.

В самом отделении было тихо: все сидели по своим кабинетам. Лишь дежурный в будке болтал с каким-то сержантом, а в КПЗ шла оживленная беседа двух сильно выпивших торговцев ворованными продуктами. Пройдя по темным коридорам в которых эхом раздавались отборные матюки спорящих воров, Летов с Горенштейном дошли до заветной двери кабинета Ошкина.

«Вот, товарищ подполковник. Товарищ Летов согласился на наше предложение» – отпартавал попивающему чай Ошкину Горенштейн.

–Сколько лет – улыбаясь сказал Ошкин своим веселым голосом, откидывая в сторону свежий выпуск «Советской Сибири» и медленно вставая, опираясь о скрипучий стол. – Серега, сколько же лет не виделись! Всегда помнил о тебе, ты следак каких еще поискать надо. Садись, поболтаем, введем тебя в курс дела.

Летов пожал руку Ошкину, даже улыбнулся немного, вспомнив славные довоенные времена.

«Ну что, Сергей, как жизнь? Слышал про твои дела – не осуждаю тебя» – загадочно сказал Ошкин, отставляя вслед за газетой и стакан горячего чая, испускающего пар.

–Я? – растерянно бормотал Летов, смотря стеклянными глазами в испаранный пол. – Я... да нормально, вроде бы. Насчет дел – я сам себя сужу. Но это уже так...

-Ты ж Ладейникова помнишь? – спросил Ошкин.

-Разумеется – повеселев ответил Летов. – Он до сих пор в органах?

-Теперь он уже Комиссар III ранга, в Новосибирске сидит.

-Да, помню его. Хороший мужик. Сильно нам с тобой помог тогда, в 37-ом, когда мы банду ловили, помнишь?

-Конечно. Такое забудешь... Хотя мое дело в 33-м было хуже.

-Когда тебя пытали?

-Да, оно... – Ошкин заметно помрачнел, оглядев свой шрам, и продолжил – Короче, я позвонил Ладейникову. Он очень обрадовался тому, что ты вернулся и одобрил наше решение о привлечении тебя к расследованию. Так что ничего бояться не стоит – Ладейников свой человек.

-Да, уж в этом я не сомневаюсь.

-Так, Вень, сходи с Серегой в канцелярию, пусть ему выдадут все, что нужно. А потом сразу ко мне – введу тебя в курс дела и с материалами дам ознакомиться.

Горенштейн кивнул, Летов медленно поднялся и посмотрел на улыбающегося Ошкина. Он второй раз, несмотря на искаленную и не гнущуюся ногу, поднялся с хилого коричневого стула, скорчившись от боли и напряжения мышц спины, но, крепко встав на ноги, вновь пожал Летову руку. Сколько Летов помнил Ошкина, тот ни разу не вставал из-за стола два раза за такой короткий промежуток времени – все таки нога давала о себе знать, но сейчас, что называется, уважил «следака, какого еще поискать надо».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.